
ИРИНА САБУРОВА
После...

Ирина Сабурова: П О С Л Е . . .

ИРИНА САБУРОВА

ПОСЛЕ...

Склад книги:

Irina Saburowa, München-Feldmoching
Grashofstr. 160 b. Postfach 34, West-Germany

Посвящается
моему близкому и далекому другу
Анастасии Петровне Бахталовской

А говорила, что лучше было ехать не на «Караване», а в настоящем автобусе! — полушопотом сказала Дара. — Теперь вот сиди и жди, пока он будет копаться! Может быть, до вечера придется ждать, если . . .

— Если вы не помахаете ножкой какому нибудь автомобилисту. Ножкой обязательно, потому что ручкой такого эффекта не произведет.

— Да, как же . . . все парами проезжают. Самое отпускное время. Какой дурак один поедет?

— Что же вы от этого выиграете, Дара? Ну хорошо, попадете в ближайшую деревушку раньше нас. А потом что? Все равно ждать придется.

— В логике Марине Петровне отказать нельзя . . .

— А вы бы, Юрка, вместо того, чтобы зубы скалить, пошли и подержали ему хоть колесо или щипцы какие. Не понимаю: молодой парень, и не разбирается в машине. На что годитесь?

— Точно. Для вас не гожусь. Мерседес у меня нету. Не успел еще. Вот, когда поеду в Америку, сразу шикарный Форд заведу. А там такая поломка, что двум делать нечего. Хватит, что Димитрий Петрович возится. Надо сперва найти, в чем дело.

— Я в машинах не особенно понимаю, но думаю, что нам волноваться не стоит. В конце концов проедет кто нибудь, сможет дать запасную часть или взять на буксир. В крайнем случае пойдем пешком. Не думаю, что-бы было далеко до первой корчмы. Здесь ведь все на туристов рассчитано. Погода хорошая.

— Ну, Алексей Алексеевич все рассудил, как и полагается профессору. И чего мы сидим, в самом деле? Пойдем погуляем по горам. Я вот там цветы вижу. Марина Павловна, полагается, по вашему, мне дамам букеты нарвать?

— Стойте, Юра! Не трогайте! Посмотрите, какие они красивые, а нам сейчас букеты ни к чему, сразу завянут.

— И если горная охрана вас увидит, сразу штраф. Цветы в горах под охраной природы.

— Немецкое ферботен, подумаешь. То ли дело мы, с нашим природным русским размахом!

— Раззудись плечо, размахнись рука!

— Точно, товарищ профессор! Тесновато нам на Западе!

— «Молитесь, жирные прелаты, Мадонне розовой своей... Молитесь! Русские солдаты уже седлают лошадей...»

— Это откуда пущено? — ахнул Юрка.

— Не пущено, а написано хорошим поэтом.

— Очень похоже на «Скифы» Блока, но у Блока лучше сказано...

— И как вам не надоест, Марина, все объяснять Юрке. Будто он понял, что такое скифы!

— А вы, Дара, знаете, что это такое?

— Конечно, знаю!

— Дара, не задавайся! Если знаете, объясните вместо Марины Павловны. Я честно признаюсь: не слыхал. Нас этому на политграмоте не учили. А читать мне мало приходилось, и честное пионерское, теперь жалею, но надеюсь наверстать.

— Ну ка, Дара, давайте... не ожидал от вас скифской прыти.

— Это такие... люди на востоке. Там их много разных. У них широкие скулы и зеленые глаза. Как у меня... мне говорили. Это теперь очень модно. Если посмотреть журналы, так у самых знаменитых манекенш и фильмовых артисток...

— Ну-с, началась фильмовая карьера. Все познания нашей многоуважаемой Дашеньки ограничиваются экраном. Пожалуйста, профессор, не вздумайте объяснять ей всерьез. Вы не артист, и

поэтому никаким авторитетом не пользуетесь, а понять девушка все равно не сможет.

— Чего вы больше не сможете? Ждать? А ждать как раз придется.

— Ага, вот и Димитрий Петрович подошел. А мы тут занялись . . .

— Нашли чем!

— Скифами.

— Скифами? Сравнивали способы передвижения? Подходяще.

— Так что же Караван? Когда поедем?

— Повидимому, не скоро.

Димитрий Петрович вытер запачканные машинным маслом руки и оглядел сидевшую у дороги компанию: все сослуживцы по Пропагандному институту, и знакомы уже давно, чтобы можно было легко представить себе их настроение: Профессор, как всегда, относится по философски: ждать, так ждать. Юрка лежит на траве, болтая ногами, покусывая травинки, и, по обыкновению, с задорным интересом рассматривая окружающее. Дара приняла живописную позу, деланно небрежно поглядывая на дорогу на случай проезжающего автомобиля. На лице «развратная», как говорит Юрка, а на самом деле характерная для теперешней молодежи грубовато чувственная улыбка. Это из за позы, на самом деле она злится, терпением не отличается. Марина Павловна просто сидит, обняв колени, и задумчиво смотрит на горы. В глазах снова тот отблеск «нездешней мечты», на который он заглядывается, пожалуй, чересчур часто . . .

— Так вот, господа, — он уселся и закурил сигарету, — Иван Николаевич больше в моих услугах не нуждается. Пока он справится, предлагаю два варианта: или пройдем вперед, не спеша, или посидим здесь. Торопиться в сущности некуда. Приедем ли мы в Италию днем раньше или позже, все равно, весь отпуск впереди. А это наше первое приключение, о котором мы потом всем будем рассказывать, и даже постараемся приукрасить, уверяю вас.

— Вроде того, что чуть не свалились в пропасть, провели два дня в ущелье, и так далее, — подхватил Юрка. — Одним словом, найдется о чем поговорить. Я предлагаю: пойдем. Сидеть в конце концов скучно. Сколько, по вашему, будет продолжаться починка?

— Полчаса еще, или час.

— Ну и хватит. Подымайтесь, господа товарищи!

— Юрка, вам пора бы уже отвыкнуть от товарищей.

— А я еще без году неделя, как из Восточной зоны. Смотрите, как бы вам привыкнуть не пришлось!

— Юра, и это говорит пропагандист! — укоризненно протянула Марина.

— Я треплюсь просто, — мгновенно утихомирился тот. — Но ежели, положа руку на сердце, то вся ваша пропаганда ни черта не стоит!

— Во время отпуска о политике говорить запрещено!

— Сдаюсь. Ферботен, так ферботен. — И Юрка, довольно предприимчиво обхватив Дару, зашагал, бодро рявкнув: — Держась за . . . Дару, как за ручку от трамвая!!!

— Юрка!!! — воскликнули в один голос Марина и Димитрий Петрович.

— Культурное обращение . . . — прошипела Дара. — Уберите руки!

— Не понимаю, собственно, — развел Юра руками, останавливаясь перед улыбающимся Димитрием Петровичем и хохочущей Мариной. — Ну вы, понятно. Но откуда Марине Павловне, старой эмигрантке, знать «Ростовскую пивную?» Честное слово, никогда бы не думал. Мое почтение возрастает с каждым днем!

И он двинулся дальше, насвистывая уже «Офицерский вальс».

Маленькая группа туристов на горной дороге: люди, отправившиеся в совместную поездку, потому что работали в одном учреждении. Что было общего у этих, совершенно разных людей?

Алексей Алексеевич преподавал раньше русский язык в Париже и потому, или из уважения к возрасту, величался «профессор», хотя и протестовал:

— Я, батенька мой, — говорил он в таких случаях, — всего-навсего недоучившийся студент Московского университета. В Париж попал через Галлиполи, с Белой армией. После второй войны профессоров развелось у нас в эмиграции больше, чем студентов, а мне это не подобает.

Профессор любил живопись и мечтал походить в Италии по музеям. Однако, несмотря на седые волосы и долгое пребывание в эмиграции, он не застыл на 1917 году, как многие его товарищи по несчастью, и зубром его не решался назвать даже Юрка. Даже больше: именно к нему и к Марине Павловне Юрка относился с наибольшим уважением, а это много значило для вихрастого гвардии сержанта оккупационных войск, махнувшего на Запад в порыве возмущения и упрямства. Юрка многого не понимал, но смутно чувствовал превосходство образования и еще чего то, что было совсем непонятно: хотя бы религиозность профессора, ходившего каждое воскресенье в церковь.

Он удивился бы еще более, обнаружив странную двойственность литературных вкусов профессора, в которой тот впрочем, охотнее признался бы Юрке, чем серьезному критику: любовь и к Алданову, и к Краснову. Что ж поделать, если романы Краснова были для него никогда незабываемым тонким присвистыванием медного крутобокого самовара на чайном столе под старой березой, или на террасе с резными перильцами крохотной усадебки на берегу Оки, где отец, старый адмирал, покряхтывал в пушистые седые усы и приучал пчел на пасеке к подъему флага... И уютные зимние сугробы с синими тенями и поддужными колокольцами были в этих книгах, и молитвенный звон колоколов, и все то недоумение, горестное вопрошание, и смертельная, ничем не смываемая обида за кровавую бессмысленную ломку жизни,

идеалов и людей во имя сатанинской идеи отрицания всего, что свято.

Алданова любил иначе. Сперва разумом, восхищаясь фейерверком сарказма «маленького русского Вольтера», беспощадным умом ученого историка, привыкшего к масштабу столетий. Увлекало вступить в диалог с книгой, проникать в мысли, плотно втиснутые в скупые строчки, как в соты. Потом полюбил сердцем, бережно, боясь думать о естественном конце последнего настоящего европейца такого масштаба в русской литературе.

Было ли это строго говоря двойственностью? Скорее — разносторонностью.

Личная жизнь для него, по мнению многих, сложилась неудачно. Но что значит: неудачно? И его любили, и он любил. А то, что остался один на старости лет . . . значит, так вышло.

От политики он сторонился всю жизнь, считая ее не только пустым, но и вредным занятием. Впрочем, считал, что если Англия была православной, то была бы идеалом для России. Вымещать свою обиду на таких, как Юрка, ему и в голову не приходило. Пусть отец порол штыком животы священникам или картины старинных мастеров — но если он и не погиб сам в лагере, а стал матерым большевиком, то и в том и в другом случае ничего не мог дать обманутому сыну. А это молодое поколение, не знающее ничего, кроме банкротства отцов, ищет выхода. Как же не помочь ему? И кому же — как не старым?

Подобные взгляды часто считаются теперь ересью, но они сблизили его и с тем же Юркой, и

с Мариной Павловной, тоже годившейся ему в дочери. Она попала девочкой после революции из Петербурга в Либаву и жила в Балтике как у себя дома, а не в иностранной колонии эмигрантов за границей: не было поэтому растерянности, придавленности, отчужденности в жизни.

Жизнь ее была хорошей и была бы несложной: учение, работа корреспонденткой на большом заводе, счастливый брак, потом война, гибель мужа на фронте, бегство, лагеря ди-пи. Однако несчастья делают жизнь только тяжелее: сложнее она от них не всегда становится. Сложность заключается в восприятии жизни, зависит от вдумчивости. Марина много думала и многому училась.

Лагерь претил зависимостью, благотворительностью, скученностью толпы. Но она устроилась на работу в ировской канцелярии, а потом в институте, и сняла крохотный флигелек — бывший павильон у старого садовника на окраине города. В окно ломился сад, и это было раковиной, в которой она жила, как и прежде — прислушиваясь, присматриваясь и любя жизнь, несмотря ни на что. В раковине кажется, что шумит море, и хорошо, что кажется так: на самом деле это отдающийся шум крови, — как мысли в тишине, и это еще лучше.

Мысли приходили, конечно от книг, которых она прочла невероятное количество, от наблюдений над людьми («мой роман с новой эмиграцией» — говорила она шутя), и — от красок. («Не только цветы, но цвета, не путайте, Юра!»). Иногда ей становилось мучительно жаль, что она не худож-

ник: во всем окружающем, при любых обстоятельствах она воспринимала прежде всего цвет, оттенок неба или стены, вещи или цветка, и этих красок и оттенков было такое неисчислимое множество, и они, каждая из них говорили ведь что то совсем определенное, заключали «вещь в себе», давали какой то тон, настраивали на определенный лад. Почему этого не видят другие, было ей непонятно. Объяснить, как она видит сама, было тоже почти невозможно. Она просто привыкла, что при взгляде на что нибудь, могла «задумываться над цветом», и эта красочность жизни составляла часть ее жизни, смысла и особой глубины, потаенной от всех.

Это не мешало ей пользоваться у многих, как например, Юрки, большим авторитетом, и объяснять ему все, обращаясь с ним, чуть усмехаясь про себя — как со взрослым. Профессору она сочувственно улыбалась, а к Димитрию Павловичу относилась с явной симпатией, и притом взаимной. Совместная поездка в Италию была для нее большой радостью не только из за Италии.

Юрка никогда не знал дома. Он попал из детдома в военное училище, а оттуда — в оккупационные советские войска в Восточной зоне Германии. Его лицо было умнее и тоньше его манер и выражений. Он учился везде хорошо, быстро схватывая и запоминая надолго, но раздумывал больше, чем полагалось гвардии сержанту, в особенности на лекциях по политграмоте. За крамольные вопросы, в которых по существу ничего, кроме живости мысли, не было, он получил выговор и

затем резкое предупреждение. Решив, что это «просто свинство», он стремительно решил податься на Запад, чтобы поискать правды там, «если не врут тоже».

Отделить не совсем понятную ложь от не совсем понимаемой правды оказалось нелегко и на Западе: стремительность во всяком случае, как быстро убедился Юрка, была неуместна и здесь. Тогда он решил ознакомиться со всем исподволь — и такие люди, как профессор и Марина, были ему весьма кстати. На возражения товарищей, что старые эмигранты выжили из ума и их нечего слушать, Юрка хмурил темные прямые брови и упрямо вскидывал хохол.

— Так нам и там говорили, — заявлял он. — А я хочу посмотреть сам, тогда и скажу.

Политических убеждений у Юрки собственно не было, хотя уроки марксизма-ленинизма он помнил; заменить их каким либо другим построением еще не мог. Оскомина от политграмоты заставляла его относиться к «демократическим идеалам» более чем скептически, хотя это тоже надо было теперь скрывать. Однако, он впитывал пока западную свободу, как ему казалось, всей кожей, и мечтал только о том, чтобы поехать в Америку учиться и работать по настоящему. Лучше всего — на Аляску, или Дикий Запад. Получив объяснение американского понятия «пионер», он пришел в восторг.

— «Первым делом, первым делом — самолеты! Ну, а девушки? А девушки — потом!» — отвечал он на вопрос о любви. Не успел еще! Некогда!

Совсем правдой это тоже не было: в том уголочке сердца, куда он сам очень редко заглядывал, Юрка бережно хранил некий «голубенький платочек» — воспоминание нескольких, едва расцветших встреч. Единственным человеком, кому он рассказал однажды об этом была Марина Павловна, а она умела слушать и молчать.

Немок для Юрки не существовало, потому что запас его немецких слов был еще очень ограничен, а какая же любовь без разговоров? Другой он не признавал. К своим же, вроде Дары, он был просто беспощаден.

— Марина Павловна! — упрямо и жалобно говорил он. — За кого вы заступаетесь, посмотрите: ей бы на Колыме, или в колхозе коров доить, а не бедрами вилять. Была бы дивчина, как дивчина, а то нет же: сказилась! Космы пораспустила, морду наштукатурила, молочную ферму выставила, задницей вихляет, и в какую нибудь мисс готовится! А что сама? Кусок колбасы. Ну, что с нее будет?!

Вопрос о будущем Дару не беспокоил, ибо был решен: она станет звездой. Пока что она занималась изучением всех тонкостей самой древней женской профессии, которая считается почему то передовой при всякой эмансипации. Изучение, правда, было больше платоническим, — вроде последних криков моды в магазинах готового платья, причесок по иллюстрированным журналам, чувственно-меланхолических улыбок и, действительно, виляния бедрами.

В институте, где Дара, в ожидании лучшего, работала машинисткой, улыбки, впрочем, большо-

го действия не оказывали — но ведь там и настоящих артистов не было! Что же касается недвусмысленных предложений, то Дара их возмущенно отвергала, хотя в глубине души они ей льстили.

Намеки Юрки на знатных доярок приводили ее в бешенство, ибо были не так уж далеки от истины: мать шустрой девчонки Дашки была простой колхозницей, бившейся без мужа с тремя детьми. Она была рада отправить Дару к двоюродному брату, служившему бухгалтером в колхозе под Смоленском — и так, с семьей дяди Даша отправилась сперва на работы в Германию, а потом в лагерь ди-пи. Дядя уже уехал в Америку и обещал ее выписать, но карьеру можно было сделать и здесь.

В Италию она отправилась тоже с затаенной целью — встретить фильмового режиссера. Кроме того, есть пляж и можно дешево купить кофточки. Дальше ее познания не шли. От умных разговоров у нее сразу болела голова, в редких книгах она читала только про любовь, но зато живо интересовалась всеми сплетнями и с увлечением танцовала: действительно хорошо, хотя и слишком вызывающе — начинала уже тяготиться одиночеством молодого и здорового животного. Красавицей она не была, несмотря на полную уверенность в этом, но, при большей отесанности и меньшей косметике была бы действительно красивой девушкой.

— Вы знаете, Дара, что лучше всего действует на кожу? — серьезно спросил ее однажды Димитрий Петрович, и Дара, хоть и услышала в его голосе обычную усмешку, но насторожилась: что?

— Холодная вода и иногда щетка.

Этого она долго не могла ему простить, тем более, что когда она наклонялась к нему, кладя на его стол бумаги и показывая откровенное декольте, он не отстранялся, «как ужаленный» (чего ей больше всего хотелось), и не «раздувал ноздрей», а также продолжая усмехаться, начинал вдруг рассказывать, как он, зеленым юнцом, влюбился, в высокий белый воротничек какой-то девушки. Дара фыркала, что теперь мужчины смотрят иначе, а он пожимал плечами и отвечал что нибудь вежливо обидное, вроде того, что мужчины по существу не меняются, и предпочитают сами выбирать женщину, и притом не из тех, которые навязываются и сразу показывают весь товар лицом.

— Если продолжение некоторых благородных частей тела можно назвать лицом, — добавлял он к великому удовольствию Юрки и хихикающего профессора! Нет, завоевать Димитрия Петровича Даре не удавалось, хотя и хотелось, просто на-зло!

Димитрий Петрович принадлежал к той небольшой части советских людей, которых безо всяких скидок можно назвать наследниками старых славных традиций русской интеллигенции. Его отец был инженером, и сам он мечтал о Горном институте. Продолжать учение помешала революция — вернее, происхождение, и пришлось после гибели отца спасаться с матерью в ставропольском захолустье. Мечта осталась, и он был упорен: впоследствии, наполовину заочным обучением, стал все таки инженером и попал в геологическую экс-

педицию. После нее его послали на Кавказ, и это оказалось неожиданной удачей: область была захвачена во время войны немцами, и ему удалось выбраться на Запад, оставив позади себя две могилы: матери и жены.

Он умел располагать к себе даже тех, с кем приходилось говорить, не разжимая губ; однако эта советская привычка была и склонностью к наблюдательности, а не только психозом, разъедающим душу недоверчивостью и страхом. Ему много приходилось изворачиваться, — чтобы, например, не записаться в партию, получать по блату иностранную литературу, хоть старые переводы, обеспечить себе приличную комнату, где он мог чувствовать себя свободно — и так далее. Он умел разбираться в паутине и интригах советской жизни, используя их нередко для своей выгоды — но не принимая участия сам. Всегда был какой то минимум: и того, что он требовал от жизни (и получал), и того, что он был согласен дать взамен (и не больше).

Дару поражало его уменье разбираться в винах; Марину — горячий патриотизм, с которым он страстно защищал даже то, характерно советское, что не было присуще ему ни в малейшей степени. С Юрием он умел разговаривать с полуслова и осторожно направлять его, как старший товарищ; это не мешало ему возражать или соглашаться с профессором и по алдановской, и по красновской линии. Художественность он больше чувствовал, чем понимал, и руководился во всем исключительно редким качеством: здравым смыслом. Это,

вместе с большой энергией и настоящей сердечностью делали его тем надежным человеком, который найдет себе место при любых обстоятельствах.

Марина видела в нем еще и другое: большую тоску по нежности и ласке, по нарядности жизни, так не хватавшей долгие годы: теперь он, как будто возвращаясь на давно забытые места после долгого заключения, трогательно врастал снова в те традиции, легкость и даже некоторую сентиментальность в западной жизни, которых был совершенно лишен раньше.

Вот такими разными были эти люди, свернувшие с дороги в Альпах на небольшую полянку среди скал. Они прошли не больше двадцати минут от того места, где застряла машина: в скалах виднелась пещера, захотелось посмотреть.

— А если Иван Николаевич проедет мимо? — попыталась возразить Дара. Ей не слишком хотелось уходить с дороги.

— Держите карман шире, так он и промчится. Сказал ведь, что долго еще будет возиться. Кроме

того, поедет медленно, я предупредил его, — кинул Юрка, и первым пробежав по траве, шагнул под свод.

Пещера оказалась большой. В глубине виднелось что то вроде сталактитов, но интересного ничего не было.

— Ну вот, удовлетворили любопытство, и теперь можно повернуть, — сказал профессор. — Разбойников здесь нет, и нашей Даре на похищение надеяться нечего, а то была бы хорошая реклама. Попробуйте сталактиты на вкус, Юра, я потом вам объясню, почему. Димитрий Петрович не прочь бы отправиться в путешествие к центру земли, но для этого не хватит времени, а Марина Павловна, насколько я знаю, уже разглядывает цвета камней. Надо все таки поторопиться . . . Аа! — А-а-а . . .

Раздался страшный удар, и наступила полная темнота, свалившаяся на них, как пыльный мешок, в котором сразу потонул крик.

— Марина! Юрка! Профессор! Дара, где вы? Дайте руки? Живы? Что случилось? У кого спички? Юра, зажгите зажигалку!

Юра не мог удержаться от смеха, увидев растерянные лица.

— Вот и поторопились бы . . . так и угодили под обвал.

— Странно, в это время года лавины здесь быть не может . . . И это вовсе не лавина . . .

Димитрий Петрович уже шагнул назад, к выходу, и вытянув руку, ощупывал завалившую выход скалу.

— Осторожней! — встревоженно вскрикнула Марина, и так же, как сама за минуту до того с радостью расслышала тревогу за себя в его голосе, когда он позвал ее по имени, так и сейчас подумала, что этим тоном выдала себя. Но он не слышал: он нагибался, щупал, стучал по камню, и когда снова подошел, голос звучал серьезно:

— О лавине не может быть и речи. Выход закрыт, и притом не камнями, их бы мы с Юркой осилили, а довольно порядочным куском скалы. Своими силами мы не пробьемся, тут и думать нечего.

— Ай! — пронзительно вскрикнула Дара и задрожала, поняв, в чем дело, — до тех пор она, только сердито бурча под нос, отряхивала пыль с платья, хотя в темноте все равно ничего не было видно. — Что это значит? Мы попали в ловушку? Я говорила, я не хотела идти, это все вы виноваты!

В ее голосе уже дрожали истерические нотки. Марина сразу вспомнила войну, налеты и такие же вот, истерические визги женщин в погребе, когда она, сжав зубы, чтобы не поддаться, старалась бороться, замирая от смертельного свиста и грохота над головой.

— Тише, Дара! — резко сказала она, и взяв девушку за руку, сильно тряхнула ее. — Прекратите визжать. Нужно обсудить спокойно. Безвыходных положений не бывает, пока вы живы.

— Ну что ж, вот и давайте закурим, — сказал Димитрий Петрович, опускаясь на камень и вынимая сигареты. — Выходов, конечно, должно быть несколько.

— Прежде всего какой нибудь другой из пещеры . . .

— А я предлагаю щель проделать сбоку, — сказал Юрка, — чтобы мы могли кричать, и подать знак вообще.

— Кому, идиота кусок! Кто это увидит с дороги?

— Даже и без щели должны обратить внимание, что произошел обвал. Я считаю, что обломок скалы, загородивший выход, должен быть не меньше размером, чем с половину среднего дома — вы пощупайте, какая у него гладкая поверхность разреза, а такая гладкая может быть только у большой скалы.

— Следовательно, горная охрана неизбежно обратит на это внимание. Иван Николаевич, не найдя нас на дороге, тоже догадается заявить в полицию. О пещере раньше должно было быть известно. Логически, нас будут искать именно здесь. Только вот насчет щели, Юра, я сомневаюсь. Сквозь эту толщу мы ее пальцем не провертим, а просвета я тоже никакого не вижу . . .

— Что же значит, сидеть и ждать? Сколько же времени? До вечера?

— Может быть, и сутки, но не думаю, чтобы больше . . .

— Мы умрем с голоду.

— Потерпим. Юра, потушите зажигалку, так она скоро выгорит, а совсем без огня . . .

В наступившей темноте и сразу насторожившейся тишине стало неуютно.

— Начали поездку . . . будет о чем рассказать!

«Настроение заметно падает», — подумала Марина, усевшись поудобнее в любимой позе, обняв колени, и опершись спиной о скалу. — Надо отвлечься чем нибудь. Хорошо еще, что не нужно ждать следующей бомбы... Хоть бы эта девочка заснула от скуки, перестала хныкать. Удивительная чувствительность у этих принцесс из коровника, и чисто животная несдержанность...

Она сама начала раздражаться, как будто надо было что то сделать неотложное, но не знала, что, и сердилась на себя еще больше.

— Позвольте, а это что такое? Да вот туда, направо посмотрите!

— Дорогой профессор, вы забываете, что мы вас не видим, и где у вас правая сторона... протяните руку мне на голос. Ну, вот так... Да, действительно...

Димитрий Петрович, вставая, коснулся Марины, и она тотчас повернула голову в сторону говорившего профессора. В абсолютной тьме, окружавшей их, ясно виднелось теперь неподвижное светловатое пятно, хотя светлым его можно было назвать только приблизительно.

— Выход! Ура! — заорал Юрка, вскакивая.

— Подождите, подождите. Может быть, и не выход.

— Все равно, надо исследовать! Не думаю, чтобы здесь гнилушки светились. Если не выход, так по крайней мере отверстие, а это уже много значит. Идемте, только сперва возьмитесь все за руки, чтобы не потеряться. В пещере могут быть и другие ходы, а в этой темноте...

Марина почувствовала, как Димитрий уверенно взял ее за руку и подтолкнул к Юре, и она улыбнулась про себя. Юра вел профессора, а тот тянул Дару, боявшуюся оступиться. Но пол пещеры был удивительно гладким.

— Да он плитами выложен! — воскликнул профессор, останавливаясь вдруг.

Они прошли уже порядочно, и вначале сероватое пятно совершенно ясно обозначилось теперь высокой, светлой аркой выхода, к которому шел узкий коридор в скале, выложенный широкими плитами.

— Не пещера, а реклама, — уныло протянул Юра. — И это наверно даже у всех гидов помечено было, как достопримечательность.

— Обвал, по вашему, тоже входит в программу?

— Наверно. У вас на Западе все, Марина Павловна, с расчетом.

— Трудно угодить на человека — вздохнул профессор. — Несколько минут назад мы вспоминали сиденье в погребе при налетах, и, как хотите, но я действительно задумался о том, найдут ли нас раньше того, как мы начнем умирать от голода. А теперь . . .

— А может быть, это отверстие в пропасть, и нам придется полюбоваться видом и вывешивать флаг?

— Все же лучше, чем сидеть в пылище и темноте. Не бегите только со всех ног, а то еще действительно свалитесь куда нибудь . . .

Но падать не пришлось. Каменный пол коридора сразу переходил в яркую зеленую траву. Ступили на нее и остановились. Бывает же такая красота!

Громадная горная долина: сбоку речка блестит на солнце; мохнатые ели, желтеющие березы, и цветы, цветы . . .

— А с какой стороны может проходить наша дорога? Полюбоваться хотелось бы и подольше, но нельзя забывать о Караване.

— По моим расчетам, справа.

— Ну, значит и пойдемте. Приключение кончилось, и машина тоже уже наверно починена.

— И давным давно проехала мимо, так что ничего не кончилось.

— Что вы притихли вдруг, Марина Павловна?

— Никогда не видала таких цветов . . . и вообще. Я не так уж люблю горы, привыкла к морю. Они меня всегда давят, так и хочется сказать: ну, а теперь довольно, пора и отодвинуть их . . . а вот здесь, как будто пришла домой, просто думать об уходе не хочется . . .

— Посмотрите, здесь и гостиница есть. Все таки немцы понимают стиль: настоящий средневековый замок.

— Может быть, и настоящий, сохранились же некоторые семьи, которые так и живут в них.

— На гостиницу вряд ли похоже — не вижу никакой дороги.

Замок вырастал из горы, под ее склоном. С одной стороны поднималась высокая, как колокольня, башня, вторая была широкой и низкой.

Обросшие мхом стены казались тысячелетними. Перед замком горел осенними красками громадный цветник.

— Нет, не гостиница. Нигде нет плаката кокаколы. И пива тоже нет. Марина Павловна, назовитесь какой нибудь графиней фон дер цу, вам это подойдет, и попросите показать его внутри!

— Навстречу уже идет кто то...

— Ей Богу, старый дворецкий, сам пол-герцога!

По ступеням широкого входа спустился невысокий коренастый старик в старомодном сюртуке, похожем на камзол. Около рта у него шли такие глубокие складки, что губы казались сшитыми во внутрь, но глаза блестели неожиданно ярко. Он прошел несколько шагов, поклонился сперва всем, потом отдельно Марине Павловне, и низким глуховатым голосом произнес по русски, очень ясно выговаривая слова:

— Пожалуйте, господа. Господин уже знает о вашем прибытии.

— Однако! — вырвалось довольно непочтительно у Юрки.

— Мы, собственно, очутились здесь, потому что... — начал профессор.

— Господин... граф в настоящую минуту серьезно занят, и просил извинить его за отсутствие. Ужин подан. Угодно пройти сюда?

Из громадного, очень светлого холла с рыцарями в латах и затянутыми гобеленами стенами они прошли в длинную столовую. Несмотря на теплый августовский вечер, в камине горело несколь-

ко поленьев, и от этого казалось еще уютнее. Стол был накрыт — сразу вспомнилось, что давно не ели.

Как то неудобно было удивляться вслух в присутствии слуги, и они покорно сели на предложенные стулья. На столе горели свечи в высоких серебряных подсвечниках, и ужин был повидимому заранее рассчитан на гостей, хотя некоторые блюда вызвали легкое недоумение.

— Хозяин, очевидно, вегетарианец, — шепнул профессор Марине. — Ни мяса, ни рыбы я не вижу.

Может быть, состав некоторых блюд было и трудно определить, но они были вкусными, в особенности изумительные фрукты, и совсем необычайное, густое красное вино. Димитрий Петрович не выдержал.

— Скажите, пожалуйста, — обратился он к наливавшему ему второй бокал дворецкому — что это за марка? Итальянское? Венгерское? Никогда не пил такого вина.

— Не позволю себе сомневаться — наклонил тот голову. — Это вино имеется только здесь, в замке, и то только для особых случаев.

Димитрию Петровичу показалось, что по лицу слуги пробежала усмешка — или отблеск свечи?

— Откуда вы знаете по русски? — заинтересовался Юрка.

— Я говорю на любом языке — спокойно ответил дворецкий — так же, как мой господин.

— Простите, я не расслышала имени хозяина, — обратилась к нему Марина.

— Я вам и не говорил еще, госпожа. Его имя ... граф Сен-Жермен.

— Не может быть! — вырвалось у профессора, и он тут же закашлялся, чтобы скрыть невежливость. Но слуга сделал вид, что не слышит.

— Граф просил вас расположиться в комнатах для гостей отдохнуть. Завтра утром он будет иметь удовольствие побеседовать с вами.

— Но это невозможно, — запротестовал оправившийся профессор. — Мы очень благодарны графу за его гостеприимство, но дело в том, что мы компания туристов, и просто пошли погулять, пока починят машину. Нам надо непременно отправляться разыскивать ее. Мы ... заблудились. Можете указать нам ближайшую дорогу к первой попавшейся деревушке?

— Позволю себе указать, господин профессор, что здесь нет никакой дороги. В горах темнеет быстро, и опасно ходить. Мне жаль разочаровывать вас, но вам придется провести ночь в замке, а на утро вы уже решите с господином, что вам делать.

— Что же это получается, господа? — беспомощно оглянулся профессор.

— Ничего не поделаешь! — отозвался Димитрий Петрович. — Дело не только в темноте. Не знаю, как вы, но я выпил три бокала этого удивительного вина, и хотя считал себя всегда крепким человеком, но сейчас извините — до комнаты доберусь, не дальше.

Остальных тоже охватывала блаженная усталость нежащего опьянения. Дара с трудом держалась на стуле, усиленно моргая. Дворецкий взял

свечу и пошел вперед. Они снова вышли в холл, пересекли его, и, поднявшись на несколько ступенек широкой башни, разошлись по комнатам, без дальнейших возражений. Не каждый из них помнил даже, как разделся, и заснули они мгновенно.

Как хотите, господа, но должна сказать, что нисколько не жалею о задержке. Вино или не вино, но я чувствую себя так, как будто помолодела лет на десять. Давно так не спала! — весело сказала Марина, спустившись на следующее утро в холл.

Она проснулась давно уже, но долго лежала, внимательно рассматривая комнату. На стенах висели чудесные гобелены и картины — одного сочетания этих красок было достаточно для хорошего

настроения на весь день. За громадным окном переплетались ветки деревьев, и так же, как у нее дома, стояли на полу громадные вазы с цветами. Интересно, откуда они берут гиацинты осенью? — подумала она, оглядываясь в поисках умывальника. За дверью оказалась мраморная ванна — неожиданный комфорт среди старины.

— Это воздух. Я тоже чувствую себя сегодня юношей — отозвался профессор. — Но пока нет нашей молодежи, господа, должен сказать, что некоторые вещи кажутся мне странными. Надеюсь, что хозяин покажется к завтраку, а Иван Николаевич еще не решился обратиться в полицию, и все уладится, но . . .

— Но похоже, что как будто нас ждали здесь, не правда ли?

— Вы смеетесь, Димитрий Петрович, но накрытый стол, свежее постельное белье, цветы в вазах . . .

— И этот странный слуга, который говорит по русски, но притом на явно чужом для него языке. . .

— А как фамилия графа, я не расслышал вчера, только заметил, как вы удивились.

— Я думаю, если вам серьезно говорят: Сен-Жермен.

— Тут просто недоразумение. Наверно у него длиннейшая фамилия, а это только начало или конец, по которому обычно называют для краткости, только и всего.

— Я что то не совсем понимаю . . . кажется, связанное с Калиостро, великим шарлатаном или магом?

— Не совсем, Димитрий Петрович. Калиостро выдавал себя за графа Сен-Жермена, а тот, загадочная личность в конце восемнадцатого века, обладал, по крайней мере, если верить мемуарам и некоторым романистам, сверхестественными качествами и был бессмертным, великим посвященным.

— Замечательная чепуха. Я помнится, мальчишкой читал что то вроде розенкрейцеров или . . .

— Не знаю, как насчет чепухи, — раздался вдруг необычно спокойный голос Юрки, — но я посоветовал бы вам посмотреть в окно.

Высокие окна были широко распахнуты, когда они вошли в холл, и в них лилось солнце. Юрки, стоявшего вплотную к стене в оконной нише, они не заметили раньше. Подойдя к окну, профессор даже нагнулся вперед, но удивленно пожал плечами.

— Я признаться, не замечаю. Прекрасное утро. Птички поют.

— А вы, Димитрий Петрович?

— Никого нет. Но так и вчера было . . .

— Только вчера на этом самом месте росли флоксы и астры, а сегодня подснежники и крокусы, — дрогнувшим почему то голосом сказала Марина, и Юрка обернулся и посмотрел на нее в упор, серьезно кивнув головой.

— Вот именно это я и хотел сказать. Вчера, когда мы подходили к замку, береза начинала желтеть, а теперь на ней едва раскрылись почки.

— В горах часто встречаются пояса, так сказать, разных времен года, в зависимости от высоты . . .

— И от вечера или утра, профессор?

— Ну, хорошо . . . вы что же, хотите сказать, что мы проспали всю осень и зиму?

— Не знаю. Несомненно только одно: вчера было — которое число? Седьмого августа, точно. И когда я подходил к замку, то ясно помню, что подумал, глядя на эту березу, об одном доме в Рязани . . . а теперь на дворе апрель, как хотите. И пахнет по весеннему. Загадочная картинка!

Спустившаяся, наконец, вниз Дара была встречена молчанием. Всем было как то не по себе, и они обрадованно вздохнули, когда неслышно растворилась дверь, и появился дворецкий.

— Разрешите пожелать вам доброго утра. Завтрак подан. Господин приветствует вас и просит пожаловать потом в библиотеку.

— Ээ . . . вы не можете сказать нам, которое сегодня число? — спросил профессор, останавливаясь и пропуская вперед остальных.

— Число, господин профессор?

— Ну да. Восьмое или девятое августа? Я забыл.

— Прошу прощения, но я этого не знаю.

— Не помните? А где у вас календарь?

— В замке нет календарей, мой господин не нуждается в них — попрежнему с изысканной почтительностью объяснил слуга, и профессор уловил в его лице ту же усмешку, как и вчера.

— А телефон у вас есть? — бросила, садясь за стол, Дара.

— Господин не нуждается в телефоне, — так же серьезно заявил слуга.

— Ни календаря, ни телефона, — шепнул Юрка, садясь рядом с Мариной. — Но слуга здесь хороший, есть чему поучиться. Вы заметили разницу? Вас он называет госпожей, а на эту финтифлюшку и не смотрит. Правильно!

— Ну что ж, — развел руками профессор, — остается позавтракать, а затем отправимся к хозяину, поблагодарить его за исключительное гостеприимство, которым, разумеется, не можем дольше злоупотреблять . . .

Завтрак оказался таким же вкусным, как ужин. Необычным был только зеленоватый чай, походивший на земляничный. Все остальное — масло, мед, творог, — напоминали чайный стол в усадьбе. Юрка забыл о внезапном припадке серьезности и только дружески подмигивал дворецкому, подававшему ему с невозмутимым видом — аппетит у Юрки был волчий.

После завтрака прошли в библиотеку.

— Да это целый собор! — восхищенно воскликнул Димитрий Петрович.

Высокие готические окна упирались в свод куполообразной залы с резной баллюстрадой хоров. Одну стену занимало громадное зеркало, все остальные покрывали книги. Перед зеркалом стоял большой глобус, около окон столы и кресла. Слуга подвел их к окну, открытому в сад, и молча пригласил сесть. Одно кресло осталось пустым.

— Интересно все таки, как выглядит хозяин, — шепнул непоседливый Юрка. — Старик, конечно, судя по всему. Эх, пожить бы в таком замке немножко, здорово бы научился всему! Одних книг в десять раз больше, чем у нас в институте, а уж интересней они наверняка во сто раз!

— Я очень рад, милый Юрий, что вы разделяете мое мнение, — раздался голос. Небольшое панно между книжными полками напротив них отодвинулось, и в библиотеку вошел хозяин замка. Он медленно обвел их взглядом, сделал общий поклон, и сел в приготовленное для него кресло.

Все молчали. Граф был одет несколько необычно — в синем не то сюртуке, не то камзоле с кружевным жабо и манжетами, и седые волосы, зачесанные назад, походили на парик маркиза — но костюм был в стиле замка.

Поражало лицо, а не костюм: ни старое, ни молодое. Глубокая складка, как стрела, прорезывала лоб. Все заполняли глаза, не глаза, а звезды — на них нельзя было долго смотреть, и от них нельзя было оторваться: синие, лучистые, они горели чистым, всепроникающим светом.

Наконец, профессор откашлялся.

— Господин граф, — начал он невольно по французски, поперхнулся, и продолжал уже по немецки: — Мы должны поблагодарить вас и объяснить . . .

— Вам может быть есть за что меня поблагодарить, но ничего не нужно объяснять, — прервал хозяин на чистом русском языке, выговаривая сло-

ва так же ясно, как его слуга, но безо всякого акцента.

— Но . . .

— Мне досконально известно, кто вы, откуда, как жили, чем занимаетесь и как попали сюда — так что, уверяю вас, это лишнее. Объяснять, и притом еще очень долго и много, придется только мне. Но мне очень понравилось, что вы, милый Юрий, так искренно высказали желание побыть здесь моим гостем. Именно это я и собирался предложить вам всем.

— Мы очень благодарны, конечно, — мягко возразил Димитрий Петрович, — но я сомневаюсь, сможем ли мы совместить это с поездкой в Италию. Время отпуска, к сожалению, очень ограничено.

— Я бы не советовал вам отправляться сейчас в Италию.

— Да, но . . .

— Мне предстоит чрезвычайно сложное объяснение, но простая вежливость требует прежде всего, чтобы вы знали, кто я такой. Слуга назвал мое последнее имя. Кому из вас оно знакомо?

— Легендарный граф Сен-Жермен? — усмехнулся профессор.

— Мы предполагаем, что это часть вашей фамилии.

— О вашем . . . предке я читала.

— Благодарю. Итак, вы трое знаете не больше и не меньше, чем полагается. От молодежи нельзя требовать и этого. Так вот прежде всего: именно я и являюсь тем легендарным графом Сен-Жерме-

ном, которого, как вы помните, последний раз видели во времена Французской революции. Может быть, вы считаете, что я выгляжу слишком молодо для такого почтенного старца, неправда ли? Но не забудьте самого важного обстоятельства: я отношусь к числу немногих бессмертных.

Наступило неловкое молчание.

— И притом я не сумасшедший, как вы только что подумали, хотя нормальным человеком меня, конечно, назвать нельзя. «Держи карман шире» — думает милый юноша. Постарайтесь овладеть своим волнением и беспокойством, господа. Вас пятеро, а я один, если не считать моего слуги. Вы можете спокойно выйти из любой двери, и ни у меня, ни у моего слуги нет никакого огнестрельного оружия, уверяю вас. Вспомните только, что в мире могут происходить многие невероятные вещи. Вот такая, совершенно невероятная вещь и произошла с вами, поскольку вы очутились здесь, и . . .

— И были усыплены вашим вином за ужином, — вдруг резко сказал Юрка.

— Совершенно верно. Помимо всего другого, вы . . . проспали порядочно времени. Вы пришли осенью, а теперь, как видите, весна.

— А для чего вы нас усыпили? — резко спросил профессор, с трудом переводя дух.

— Это было необходимо, как первый шаг вашего пребывания здесь. Вы и сейчас остались духовно такими же, как были, но в этой долине особая атмосфера, и ваше тело не могло бы ее выдержать без особой подготовки. Перестройство физического организма произошло во время длитель-

ного сна. Мне кажется, что вы чувствуете себя теперь превосходно?

— А обвал в пещере — медленно спросил Димитрий Петрович, обходя молчанием его вопрос, — произошел тоже нарочно?

— Разумеется. Все было рассчитано заранее, вас не должно было задеть ни одним камнем. Надо признаться, что вы держались очень хорошо.

— С какой же целью вы это сделали — если вообще поверить вам? — снова вскипел профессор.

— Говорите уж прямо, к какой организации принадлежите, — безнадежно махнул рукой Юрка.

— К известного рода организации я действительно принадлежу, — улыбнулся невольно граф. Несмотря на седые волосы, у него был совершенно молодой, сразу располагающий к себе голос. — Она состоит из людей, которые повинуются только Божеским законам, и в состоянии не считаться до некоторой степени даже с законами земной природы — не говоря уже о человеческих. Я сказал уже, что бессмертен, хотя в сущности это не совсем так. Просто я начал свою жизнь на этой земле так давно, что по вашему летоисчислению с того времени прошли уже многие тысячи лет. Народ, к которому я принадлежу, давно исчез, возникли другие народы и культуры, погибали снова, а я, как видите, разговариваю сейчас с вами. Даже больше: вот это место, эта горная долина совершенно не подвержена тому, что происходит в остальном мире. Правда, здесь меняются обычные времена года — но и только. Природе предоставлен здесь обычный

ход — но вся долина в другом плане, во времени — или вне времени, по вашему. Можете назвать это четвертым измерением — наиболее подходящее выражение, пожалуй.

— Итак — осторожно начал профессор после паузы — вы утверждаете, что не можете умереть?

— В обыкновенном, человеческом смысле — нет.

— А вы . . . пробовали?

— Конечно. Я далеко не сразу стал таким, как сейчас. Прошло много времени, прежде чем мне удалось побороть непокорность и возмущение, которые, кстати, овладевают сейчас вами, — и смириться. Я неоднократно приходил в отчаяние и пытался уничтожить тело, уйти с земли. Но на меня было возложено оставаться здесь.

— И с какой целью, позвольте вас спросить?

— Поскольку мне удалось проникнуть в высший замысел — очевидно для того, чтобы стать именно таким, как я сейчас, и, по всей вероятности — помочь и вам стать такими же.

— Вы хотите сказать, что можете сделать нас бессмертными?

— Я? Нет. Это только во власти Бога. Но продлить вашу жизнь на срок гораздо долее обычного, чтобы вы могли выполнить вашу задачу, — да, для этого у меня есть средства. Тех трех бокалов вина, которые каждый из вас выпил вчера за ужином, совершенно достаточно не только для того, чтобы приспособить ваш организм к другому плану, но чтобы прожить еще, скажем, несколько сотен лет, не дряхлея.

— Элексир вечной молодости?

— Этого я не сказал. Вы не будете ни молодеть, ни стариться. Останетесь такими, как сейчас, только гораздо здоровее.

— На сотни лет?

— Совершенно верно.

— И другие будут умирать вокруг нас, а мы — нет?

— В обычных условиях вам было бы тяжело это видеть. Но пока что вы изолированы здесь . . .

— То есть как — здесь? Вы хотите сказать, что мы должны оставаться здесь?

— Конечно. Иначе вам незачем было бы и приходить.

— Как будто бы мы сами пришли, а не потому, что вы подстроили это! И больше здесь никого нет?

— Я и мой слуга. Он служит мне не одну уже тысячу лет.

— Вот как . . . интересно. Но позволю себе спросить, однако: на каком основании вы выбрали именно нас, чтобы сделать такой . . . довольно неожиданный и ценный подарок, как сто лет жизни, скажем, и притом совершенно без нашего согласия? Мы живем, все таки, в свободной демократической стране, и может быть я совсем не собираюсь стать современным Мафусаилом! Можете же вы себе представить, что человеку захочется иногда и умереть, как вы сами рассказывали о себе! А тут вдруг вы навязываете мне свою волю!

Профессор расхорохорился так, что готов был стукнуть кулаком по столу.

— За последние две тысячи лет после возникновения христианства у людей было достаточно времени, чтобы следовать своим собственным желаниям и делать, что им заблагорассудится. А рассудилось им встать опять на тот самый путь, который привел к катастрофе. Но, поскольку катастрофа все же не будет окончательной, и жизнь будет продолжаться — кому то надо спастись. Вот почему о ваших желаниях не спрашивали. Однако, человек прежде всего свободен. Вы можете выйти отсюда двумя путями — темным и светлым. Я уверен, что вы выберете второй — хоть и не сразу. Но не забывайте, что я здесь для того, чтобы помочь вам.

— А вообще дорог из долины нет? — отважился Юрка.

— В обычном плане — нет.

— А говоря о катастрофе, вы подразумеваете атомную войну?

— Война только внешний толчок. Расщепление личности, духа и атома идут рука об руку. Яд воинствующего атеизма и отравление разложением материи — вот причины взрыва. Но теперь уже поздно говорить о результате.

— То есть, поздно разбирать причины?

— Нет, разборкой причин мы и займемся в следующий раз. Я не хочу вас утомлять, и прекрасно понимаю, что прежде чем вы освоитесь с положением, пройдет время. Но его у нас хватит. Поэтому располагайтесь в своих комнатах, как дома. Обратите внимание на шкафы и ящики — там найдете все необходимое. В столовую приглашают гон-

гом. Я часто не показываюсь целыми днями, так что мое отсутствие вас не должно стеснять, но если я вам понадоблюсь — обратитесь в любое время. Гуляйте, отдыхайте, читайте, знакомьтесь с замком — кроме моих личных комнат, — и долиной. Все к вашим услугам.

Он встал, слегка поклонился, улыбаясь, и дверь, скрытая панно, снова задвинулась, как будто ее и не было вовсе.

Они встали, переглянулись, и молча вышли из замка. Неподалеку под приглянувшейся Юрию березой стояла широкая каменная скамья, нагретая весенним солнцем. Около нее высовывались из земли острые треугольники ирисов и тянулись лилово-желтой каймой крокусы. Димитрий Петрович осторожно оглянулся — но кругом не было никаких кустов, в которых можно было бы подслушивать.

— Ну-с, господа, итак...? — начал он, усаживаясь.

— Нам нужно бежать! — воскликнула Дара, — Это ни на что не похоже! С какой стати? Старик выжил из ума, а у меня даже другого платья нет с собой! Все вещи, все деньги, какие я копила, все осталось в машине! Вы меня сюда завели, вы и придумывайте, а я ни минуты не останусь!

— Дело, конечно, ясно, — перебил ее профессор. — Мы в плену у сумасшедшего. То есть, насколько мы в плену, это надо еще выяснить, и конечно, не откладывая. В то, что мы проспали несколько месяцев, я не верю. Скорее всего получили сильное снотворное, которое подействовало на сутки, скажем, а за это время слуга, или сам хозяин или еще кто могли вырвать два-три цветочка и посадить другие, чтобы создать впечатление.

— Березу тоже пересадить или листочки оборвать? — пробормотал Юрий, недоверчиво разглядывая начинающие распускаться почки.

— Не понимаю, Юрий, почему вы вдруг в ботанику ударились? Но это неважно. Пока наш хозяин, повидимому, довольно безобиден. У человека религиозное помешательство, может быть, или он просто рехнувшийся оккультист, а это еще не так страшно. Держаться нам во всяком случае надо вместе — впятером мы и с бессмертным справимся, свяжем в крайнем случае. Слуга кажется мне сильным человеком, но и он не так уж молод. Будем надеяться, что в замке действительно больше никого нет, хотя это мне тоже кажется неправдой. Комнаты убраны, и их много. Пусть даже остальные помещения необитаемы, но чтобы один слуга

справлялся со всем . . . ну да ладно. Главное — найти дорогу отсюда.

— Я предлагаю следующее, — сказал Димитрий Петрович. Вернемся прежде всего к исходному пункту — то есть, к тому ходу, которым мы сюда пришли. Теперь я понимаю, почему он был выложен плитами — очевидно, им пользуются из замка. Обвала никакого не было. Просто кусок скалы поднимается и опускается особым механизмом. Надо, значит, постараться найти этот механизм. Кроме того — если мы действительно проспали сутки — нас могли начать искать. Хорошо бы взобраться на какую нибудь скалу и поднять сигнал о бедствии . . .

— Нижнюю юбку фильмовой звезды! Пикантно!

— Да и просто постараться найти выход. Предлагаю разбиться на две группы и отправиться одним налево, а другим направо. Отправной пункт — замок. Долина, кажется, имеет овальную форму. В противоположном конце мы встретимся, и выясним результаты. Сколько времени понадобится, чтобы обойти? Часа два. Кстати, господа, у кого часы? У меня они встали — вчера забыл завести.

— Вчера — это хорошо сказано, — усмехнулась Марина. — Мои стоят тоже.

—Вы действительно думаете, что мы проспали несколько месяцев?

— Уверена.

— Из за этой странной весны?

— Из за весны настоящей, потому что «вчера» была настоящая осень. Пусть профессор презри-

тельно отзывается о ботанике, он книжный человек. Но я почти всю жизнь прожила в саду. Я знаю и землю, и что на ней растет. Вашим «вчера» я любовалась флоксами и астрами, и своими глазами видела яблоки вот на этом дереве, которое сейчас покрыто цветами. Никаким горным климатом и никакими человеческими руками этого сделать нельзя. Юра совершенно прав, как хотите.

— Марина Павловна, вы меня всегда поддерживаете, спасибо! Я пойду с вами. Мне надо многое спросить. Димитрий Петрович может поспорить по дороге с профессором, а Даре я предлагаю ждать нас на этой скамье.

— Вот еще, я боюсь оставаться одна!

— Значит, имеете развлечение, Димитрий Петрович! В качестве горного инженера вы исследуете вход, то есть коридор. А мы сюда!

И не дожидаясь возражений, которые он предвидел, Юра галантно взял под руку Марину и потащил ее в противоположном направлении, огибая замок на почтительном расстоянии слева.

Сперва они молча шли, огибая выступы скал, громадные ели, прижимавшиеся к горам, следуя их линиям. Иногда Юра вскакивал на какой нибудь камень, оглядывался, ориентируясь, и слегка посвистывал. Наконец они наткнулись на ручей. По узкому жолобу с вершины горы струилась тонкой струйкой вода, собираясь внизу в небольшое озерко, из которого бежал дальше неширокий ручей.

— Это начало той самой речки, которую мы видели вчера издали на другой стороне. То есть,

когда пришли сюда. Отдохнем, Марина Павловна? Потом я вас переведу по камням.

— Да я сама пошлепаю по воде с удовольствием. Долго ли туфли снять, и я без чулок, потому что просто жарко. Вода из какого нибудь глетчера, вероятно. Посмотрите, какая прозрачная.

Марина подошла к самой скале, и подставив руку, напилась из горсти.

— Попейте, Юрий. Это вам не из водопровода со всякими хлорами и химическими фильтрами. Какая вкусная!

— Ну так вот, значит... Юрка растянулся на берегу с пробивающейся травкой, около камня, на который уселась Марина, и подперев голову руками, внимательно посмотрел на нее.

— Я видел, что вы думали, и не хотел вам мешать. Вы уже там, в библиотеке, замолчали сразу. Я заметил.

— Какие у него глаза, Юра... до сих пор их перед собой вижу!

— Ага. Только я не мог долго смотреть. Пытался, но становилось больно, как если на яркую лампу. Вот теперь я понимаю, когда пишут, что глаза, как звезды. Неужели это от сумасшествия? Я видел одного товарища, он в СМЕРШе работал, и тоже заговариваться начал — уж очень уставал после допросов. Так у него совсем другие глаза были. Посмотришь — и мороз по коже подерет, честное слово, до того неприятно. А этот как в душу смотрит, все понимает, и вот возьмет тебя сейчас за руку и поведет в рай... Забавный старикан! Впрочем, я ему больше сорока не дам. Дво-

рецкий определенно старше. Что такое оккультист, Марина Павловна?

— Человек, который занимается оккультными науками.

— Объяснили, спасибо!

— Я не кончила. Это означает: тайные науки. Существует много оккультных учений: раньше были розенкрейцеры, масоны, теософы . . . есть и другие, но как вам объяснить их сущность в трех словах? Ну вот: скажем, вы поступаете в школу, и плохо учитесь. В результате — остаетесь на второй год, правда? Теперь представьте: вырастает человек, и за всю свою жизнь—скажем, как был жестоким, так и остался. Убивал, предавал, преследовал людей . . . и умер. Умирает ведь только тело, а не душа, Юра. Кроме того мира, который мы видим, есть и незримый, так же как мы знаем три измерения, а их больше . . .

— Другой план, как говорил граф?

— Да. Так вот, человек не должен убивать или быть жестоким, — а он стал еще хуже чем был. Теперь он умер. Учебный год кончился, а . . .

— Переэкзаменовки нету.

— Переэкзаменовки даются бессчисленное число раз. Все наши грехи — это так называемая карма прежних жизней, наши прежние преступления и проступки, которые мы должны искупить, загладить, стать лучше. Как всякое растение тянется к свету, так и человек должен тянуться к добру, ибо Бог — это добро.

— Здорово получается. Ну а если в этой жизни успеть переэкзаменоваться? Если тебя учили не-

правильно, а ты понял и хочешь поправить, по настоящему выучиться?

— Это очень хорошо, Юра, и показывает, что вы уже — по дороге в следующий класс.

— Бог один, Марина Павловна?

— Один.

— Почему же даже христиане — разные? У нас православные, здесь католики и лютеране. А мусульмане и совсем другие, и китайцы . . .

— Потому что разные люди видят по разному. Вспомните русскую былину: подходили к правде семь богатырей, посмотрели на нее с семи сторон, и каждый стал утверждать, что только он видит правду, какой она есть. Это бы еще ничего, но стали спорить между собой и биться, и до сих пор бьются . . .

— Похоже. Значит, если человек оккультист, то он не считается, что у одних или у других накручено ими самими, а смотрит в корень, и корень этот один у всех выходит?

— Знаете, Юра, я вам иногда удивляюсь. До чего же вы быстро схватываете как раз то, что нужно!

— Я схватил еще и другое, Марина Павловна. Вы тоже оккультистка? Правда? А почему вы мне этого раньше не говорили?

— Я никогда не думала, что вас могут заинтересовать и такие вопросы. Вы совсем недавно оттуда. До сих пор вам забивали голову совсем другим . . .

— Да вот именно потому. Я теперь все стараюсь выбросить из головы, так надо же ее настоящим

заполнить! Вы мне скажите, какие книжки прочесть, если . . .

Он взял острый камешек и старательно вычертил на земле небольшой круг.

— Если мы вернемся вообще.

— Вы так думаете?

— А вы нет? Ну вот, мы шли с вами добрый час. На такие скалы хорошему альпинисту, со всеми приспособлениями и то, я думаю, не взобраться. Не скалы, а отполированные стены невероятной высоты. Если наша вторая партия не найдет выхода, а ведь граф, я думаю, не зря говорил, что выхода нет — то мы заперты в мышеловке. То есть выход безусловно есть, но известен только графу или дворецкому, и его вряд ли подкупишь, а хозяин хочет, чтобы мы остались.

— Вас это, повидимому, не пугает.

— Нисколько. Кормят хорошо. Обстановка роскошная. А главное — я уже сказал: сумасшедший он или нет, но поучиться здесь можно будет многому. Поплавать тоже можно в речке, лес . . . честное слово, куда лучше работы в этом идиотском институте! Скажете нет?

— Ну, а потом?

— Мало что потом. Между прочим, он о катастрофе говорил, а мы раньше спорили, будет атомная война, или нет, к тому шло. У него наверно и радио есть. Если мы тут всю зиму проспали, так вы думаете, война не могла начаться уже? Мне она надоела — ничего не имею против, чтобы отсидеться в укромном месте, хотя бы и с оккультистом. Но вы мне еще расскажите. Первый урок я, так

сказать, усвоил. Теперь дальше! Пойдем только, а то нас дожидаться будут.

Они перешли через ручей и отправились дальше. Марина внимательнее смотрела теперь на скалы — нет, Юра был прав. Взобраться на них и думать нечего.

— А ведь я схватил еще и другое — остановился он вдруг так резко, что она вздрогнула. — И вот что именно: справедливость. Сколько раз приходилось думать: ведь вот паразит, гад, а живет куда лучше тебя, и не только материально, а и почет, и жена у него красавица, и так и умирает, в орденах и с памятником. Где же тут справедливость, спрашивается, когда рядом честный парень всю жизнь горбом трудится, или не за што ни про што в лагерях вкалывает, и на него все несчастья сыплятся? Ведь и коммунизм тоже от несправедливости произошел, хоть и еще хуже получилось . . . Но по вашему выходит правильно, раз есть возмездие за все. Ясно. Вы не смущайтесь, Марина Павловна, знаете, я говорить не умею, но я крепко думаю. Теперь давайте дальше: где такая оккультистская школа, или церковь находится?

— Такой нет.

— Почему же? Обязательно должна быть!

— Человек сам должен придти к этому — каким хочет путем. Возьмите десять заповедей или Нагорную проповедь. В них все сказано.

— А когда я пришел к попу, он стал спрашивать, когда на исповеди был, и постился ли, и . . . деньги ему надо платить. Просто неприятно: тут

тебе человек о Боге говорит, а ты ему деньги в карман суешь.

— Юра, мы говорим об истине, а не о том, что люди из нее сделали. Вот поэтому оккультизм и остается тайной наукой, чтобы люди не искажали ее всякими домыслами, буквой закона, правилами и условностями.

— Католики своих святых вроде идолов обожают. Почему тогда над языческими идолами смеются?

— Человеку свойственно воплощать свое представление о Боге. Но сказано: «могущий вместити, да вместит». Если вам не надо видимого изображения Бога — хорошо. Но другому это может быть нужно. И еще: иконы, Распятие, статуи — любое изображение, все эти «предметы культа», как вы привыкли слышать, — разве это просто кусок дерева, или раскрашенная дощечка? Подумайте: сколько людей смотрело на них с благоговением, складывали у их подножия свои радости и горести, просили о милости? И сколько уходило с облегченной душой? Казалось бы, картинка — а в ней, как в пучке света, собраны человеческие души, — и именно тогда, когда они стремятся очиститься от зла. Почитаете же вы флаг — а ведь он кусок материи. И при всем уважении к каждому символическому знаку, знамени — икона выше.

— Все, значит, оборачивается в этот незримый мир — так вы сказали? Значит, он самый главный. Почему?

— Потому что дух выше материи.

— Шпарьте из незримого мира дальше!

— Между духом и материей постоянно происходит борьба . . .

— Скажем, мне хочется читать, а у меня глаза слипаются . . .

— Это естественная усталость, Юрий. Но если вы откладываете хорошую книгу, которую стоит прочесть и над ней подумать, чтобы сесть играть в карты или пить водку, — то ясно, что вместо мыслей у вас получается кавардак, и если это повторяется часто, то сил не остается больше, растрачиваются на пустяки. Что дает вашим мускулам гимнастика, понятно? Так же можно упражнять и волю, отказываться от вредного и ненужного, чтобы выработать в себе силу. Пост имеет, между прочим, гораздо больше значения, чем вы думаете. Это воздержание для тела, очищение организма и вместе с тем отказ от многих наших слабостей.

— Скажем, я откажусь и выдержу, будьте уверены. Дальше что?

— Попробуйте подавлять в себе злые мысли. «Не вредите друг другу — в этом вам все законы и пророки». Великие слова, Юра. Культурные люди вежливы — это вы знаете? А если бы они не только внешне, но и внутренне не были врагами?

— Так и войн не было бы.

— И многого другого. Но мы, к сожалению, ограничиваемся только внешними манерами.

— А что это: «расщепление личности», как он сказал?

— Юра, вы знаете басню про медведя, как он решил дуги гнуть?

— Ну и?

— «А дуги гнут с терпеньем и не вдруг . . .» Подождите немножко! Подумайте сперва над тем, что я вам сказала. Нельзя все так сразу, с налета!

— Времени не хочу больше терять . . . ну да ладно, кажется теперь его у нас хватает . . . а вот и остальная компания.

Было похоже, что остальные перессорились между собой. У Дары был надутый вид, профессор нервно пощелкивал пальцами, и только Димитрий Петрович поднялся навстречу с камней, на которых они отдыхали, и вопросительно поднял брови:

— Нашли?

— Какое там! — махнул рукой Юра. — И думать нечего! А вы?

— Мы также.

— Западня! — мрачно пробормотал профессор. — Вы знаете, что он закрыл вход в этот коридор? Просто нет его больше. Димитрий Петрович не только смотрел, а выстукал скалы на протяжении доброго километра в том месте: гладкий камень, и такая высота, что голова кружится . . . Нет, если вы тоже ничего не обнаружили, мы в плену у сумасшедшего! Я, конечно, не верю, что мы проспали несколько месяцев, но что он с нами дальше будет делать? Ведь мы беспомощны! Ни оружия, ни . . .

— Я предлагаю следущее, — серьезно сказал Димитрий Петрович. — Выберем подходящую лужайку, снимем с кроватей несколько простынь, что ли, и расстелим их на лужайке, придавив камнями, чтобы получились знаки.

— Какие знаки?

— СОС. Так делают на льду в Арктике, чтобы опознали с самолета, и в пустыне . . .

— Димитрий Петрович, вы романтик. Почему вы думаете, что здесь будут пролетать самолеты?

— Но ведь нас ищут . . .

— Через столько времени?

— Господи, с вами, Марина, просто разговаривать невозможно. Вы готовы поверить сумасшедшему на слово. Что нибудь надо ведь сделать?

— А по моему, пойдем просто обратно, мне есть хочется, — сказал Юрий.

— Вот и относительно еды. Предлагаю не есть!

— Пить воду из ручья и питаться кореньями? Ранней весной в особенности хорошо . . .

— А если он отравит нас еще чем нибудь?

— Значит, вы признаете, профессор, что нам дали снотворное?

— Вы и меня с ума сведете!

Но они все таки повернули к замку. На середине дороги профессор вдруг остановился и взглянул на Дару.

— У меня есть идея! — воскликнул он. — Дара, вы можете оказать нам всем бесценную услугу! Кто бы ни был наш хозяин, но он, хоть и не совсем молодой, но все таки и не старик! Обворожите его — таким образом мы сможем всего добиться. А против ваших чар никто не устоит, если вы захотите!

— Дара, отличайся!

— Подобное предложение несовершеннолетним карается законом . . . Марина Павловна, что с вами?

Марина задыхалась от хохота.

— Я просто представила себе картину: граф и — Дара! Ха-ха . . .

— Ну и что же? Как будто не было примеров. В истории и . . . вообще. Я совершенно не собирался даже думать чего нибудь плохого. Просто флирт, женское кокетство, так сказать . . .

— СОС из простынь приблизительно то же, что и Дарины чары . . . нет, господа, надо придумать что нибудь другое. Мы можем постараться войти к нему в доверие — серьезно сказала Марина. — Познакомимся с ним вообще поближе, мне кажется, что это стоит. А главное — не приходила ли вам в голову и такая мысль, что то, что он говорит, может быть действительно правдой? Что, если мы действительно очутились в таком исключительном положении, которому позавидовали бы миллионы других? Что мы знаем, в конце концов? Вы может быть заметили, что он читает мысли, знает наши имена — и наверное, видит нас насквозь . . .

Она оказалась права. Когда они подошли к замку, раздался звук гонга — солнце уже садилось. Дворецкий снова встретил их на пороге, и распахнул двери в столовую.

— Господин просил не ждать его к ужину, — заметил он. — Он просил передать, что вы можете спокойно есть и пить. Пища не отравлена, и снотворного вам больше не требуется. Относительно же знаков на лужайке, господа, осмелюсь сказать, что над нашей долиной не может пролететь ни один самолет. Она в другом плане, ее нельзя увидеть.

Они сели за стол в легком замешательстве.

— А ведь нас там никто не мог слышать — шепнул Юрка Марине.

— Хорошо еще, что про Дару не упомянул — ответила она. — Просто стыдно.

Они проголодались после прогулки, и несмотря на смущение и недоверие поели, и разошлись по своим комнатам. Дара с Мариной решили основательно обследовать их.

Осмотр продолжался на следующее утро. Их комнаты были рядом и они обменивались впечатлениями. В стенных шкафах оказались платья, сандалии.

— Вроде вечерних — сказала Дара. — И сколько белого! Что это за материал? А кто будет все это мыть?

— Это тончайшее полотно, Дара. Мы привыкли теперь ко всяким искусственным материям, а здесь все настоящее: шелк, шерсть, лен. Похоже на хитоны. Мне нравится. А вы посмотрите, что в маленьком ящике — да ведь это драгоценности!

— Тоже — настоящие?

— Мне кажется, что здесь может быть только настоящее, Дара.

Марина надела белое полотняное платье и застегнула на руке тяжелый браслет с громадными сапфирами. Изумительные камни. Вот такие же синие глаза у него — поверить трудно, что могут быть такие . . .

Дара перебирала украшения, не в силах оторваться. Марина любила драгоценности, как всякая женщина, но сейчас у нее было совсем необычное ощущение: вот эти старинные, сказочные камни, стоящие, наверно, целое состояние — совершенно не имеют цены. Три сапфира — каждый величиной с голубиное яйцо — а важна не ценность их, и даже не красота, а только цвет — синий-синий, как вечернее весеннее небо — цвет, который обволакивает, настраивает на спокойные, глубокие мысли, тихую радость раздумий . . .

— Как мы дорожим тем, что ненужно — сказала она вслух, спускаясь в холл.

— С добрым утром, господа!

Граф сидел за столом и приветливо улыбался им навстречу.

— Я очень рад, что вы оказали мне доверие и не морили себя понапрасну голодом.

— Раз мы уж в таком безвыходном положении . . . — пробурчал профессор.

— По моему, как раз наоборот. После завтрака я решил показать вам то, что происходит сейчас во времени за скалами, окружающими долину. Конечно, времени у вас достаточно — но стоит ли

тратить его на такие пустяки, как поиски выхода, подачу сигналов или даже — попытку соблазнить меня? Пожалуйста, не смущайтесь. Для вас эти мысли совершенно естественны. Я даже знаю, что милая Дара подумала об этом всерьез, надевая коралловую нитку . . . милая девушка, не краснейте. Я же говорю, что это вполне понятно. Вам еще многому придется научиться, прежде чем вы поймете. Поверьте пока просто, что я могу только любоваться женщиной, как картиной. Выпейте лучше молока, это вас успокоит.

— Значит, вы действительно читаете мысли? — спросил профессор.

— Как видите.

— Как же вы это делаете? Телепатически?

— Когда вы приучитесь на самом деле владеть своим телом, нервами, мозгом, волей, — то читать мысли другого существа, стоящего наравне с вами, или ниже вас, будет так же легко, как видеть его лицо при достаточном освещении, — или даже еще легче. Сейчас, например, вы ведь можете в любую минуту видеть «мысленным взором», как это говорится, картины, образы, мысленно говорить слова? Даже во время сна в мозгу происходят процессы мышления, даже у животных. Следовательно, чего же проще: при известном усилии я тем же мысленным взором вижу то, о чем вы думаете или что хранится в вашей памяти.

— И собираетесь нас этому научить?

— Конечно. Как только вы выразите подлинное желание стать моими учениками.

— А ваши мысли мы сможем прочесть тогда тоже?

— Попытайтесь, — тихо рассмеялся граф. — До известной степени да, но только не обижайтесь, господа, — по сравнению с вами я прошел такой путь развития, что могу смотреть на вас, скажем так, как вы смотрите на крота, который сейчас подрывает корень, еле решаясь выглянуть на свет. Вы ведь не думаете всерьез, что крот может управлять автомобилем или электронным мозгом?

— А что значит ваши слова: «подлинное желание стать учениками»? Разве просто выраженного с нашей стороны желания недостаточно? Или вы хотите сперва подвергнуть нас испытанию, узнать, достойны ли мы этой мудрости?

Профессор может быть и не хотел говорить иронически, но выходило у него даже не совсем вежливо. Марина с упреком посмотрела на него. Димитрий Петрович не вмешивался в разговор, все время наблюдая за хозяином. Но по лицу графа можно было заключить, что ирония профессора совершенно беспомощна.

— Я вам отвечу восточной притчей. К великому мудрецу пришел юноша, выразивший желание стать его учеником.

— Я хочу познать истину, о учитель, — сказал он.

— Хорошо, — ответил мудрец. — Но первое правило ученика — это повиновение.

— Я буду беспрекословно повиноваться тебе — ответил юноша.

Тогда мудрец подвел его к берегу озера и сказал: «Войди в воду, и иди, пока я не прикажу тебе остановиться». Юноша вошел, и вода была ему по колени. Он ступил дальше — она поднялась до груди. Еще один шаг — и он попал в глубокую яму. Захлебываясь, он выплыл на поверхность. «Возвращайся на берег» — приказал мудрец, и когда юноша ступил на землю, спросил его: «А теперь, положи руку на сердце и ответь мне: действительно ли ты так жаждешь истины, как твои легкие — воздуха, когда ты очутился под водой? Если действительно так, — ты можешь стать моим учеником. Если нет — ступай с миром . . .»

— Из ваших слов можно заключить, что вы отпустите нас, если найдете недостойными — быстро воскликнул профессор.

Сен-Жермен снисходительно улыбнулся.

— Может быть. Но не забывайте, что я вас сам пригласил к себе, хотя и не совсем обычным способом. Когда же вы увидите то, что происходит в мире, который вы оставили — то может быть, будете другого мнения — и поймете, почему у нас нет столько времени, сколько было у этого юноши, если бы он оказался недостойным учеником. Советую, между прочим, подкрепиться еще этим медом· Он благотворно действует на нервы, а вам придется сейчас испытать их крепость.

Он сам намазал на кусочек хлеба густого душистого меда и передал мисочку Марине.

— Читая мысли, вы можете говорить с любыми людьми на их языке? — тихо спросила она.

— Конечно. Вам при изучении языков нужен обходный путь: чужие слова, буквы, звуки, которыми передаются понятия. А я их вижу, и безо всякого труда повторяю привычный для вас звук.

— Но ведь вы не повторяете наших слов, а говорите их сами, и даже о таких понятиях, которые нам в голову не приходят!

— Совершенно верно, профессор. Но я могу включиться на вашу волну, как в радиоприемнике и отправителе. Ведь и ваши ученые стали за последнее время догадываться об электромагнитных полях человеческого организма, радарных и радиоволнах мозга. К сожалению, только за самое последнее время, и только для медицинских целей. Работу мозга изучали для лечения болезней — а не для того, чтобы пользоваться его совершеннейшим устройством.

— Выходит, что мы не умеем думать?

— Дорогой профессор! Положа руку на сердце, попробуйте сказать мне, сколько самых разнообразных мыслей проносится у вас в мозгу в течение хотя бы одной минуты, и притом в полном беспорядке? Сколько усилий стоит вам, чтобы сосредоточиться на отдельном предмете? Можете ли вы вообще сделать это полностью?

— Кто то сказал, что люди в самом деле произошли от обезьяны: они думают всегда вниз головой, от этого у них и такой кавардак в голове . . .

Граф ободряще улыбнулся Марине, а Юрий не выдержал и прыснул.

— И себя не раз ловили на этом диком кавардаке. Если бы вы повторяли скачки вашей мысли

своим телом, вас без сомнения заперли бы в сумасшедший дом, а ваша нервная система была бы полностью разрушена, как при пляске св. Вита. К счастью — или вернее, к несчастью — течение мысли не выражается наглядным образом. Только ребенок задает вопросы, перескакивая с предмета на предмет, взрослые пытаются приучить его хотя бы к внешнему порядку. Но сами они только в немногих случаях могут овладеть мышлением — иначе все стали бы профессорами. Сущность, значит, остается той же почти у всех.

— Итак, многоуважаемый граф, мы слепы, как кроты, и думаем, как обезьяны! А вы, значит, являетесь сверх-человеком. Венцом творения?

— Мне кажется, что я уже тоже научился читать мысли, по крайней мере у нашего профессора — усмехнулся Димитрий Петрович.

— А вместе с тем многоуважаемому профессору, — легко поклонился в его сторону граф, — следовало бы знать, что одним из смертных грехов человека, если не величайшим вообще — является гордыня. «Венец творения!» Безусловно, венец, ибо из всех живущих на земле самый совершенный, созданный по образу и подобию Творца. Но что же из этого следует? Прежде всего то, что ему действительно надо стать подобием!

— Богочеловеком? — насторожился профессор. — Вы антропософ?

— О нет, — серьезно ответил граф, вставая из за стола. — Это снова та же гордыня. Чем выше поднимается человек по ступеням развития, тем ниже должен склоняться перед Тем, Кто его

создал, ибо чем дальше раздвигаются границы его понимания, тем больше он убеждается в собственной ограниченности. Возьмем простой пример. Сколько раз каждому из вас приходилось слышать, как полуобразованный человек с апломбом говорит на любую тему, судит вкривь и вкось и поучает других. А ученые признаются, что они попрежнему на пороге тайн, только еще более неизмеримых — после всех своих открытий.

— Границы бесконечны?

— Вам даны три измерения и указано четвертое. У каждого есть свои границы, и прежде чем считать их, надо овладеть следующей ступенью, иначе это астрономическая бессмыслица. Я могу быть вашим учителем, потому что владею силами этого четвертого, но выхватывая вас из вашей жизни, как вы сказали, я действовал не по собственному желанию, а по воле Того, перед Которым я — песчинка, и могу только повиноваться.

— А чувства? — осторожно спросил Димитрий Петрович. — Вы их тоже видите?

— Чувство, состояние духа — это видно просто невооруженным глазом. Человека окутывает его аура, как облако. Она разных цветов, в зависимости от вашего характера, чувств, мыслей. Это астральные цвета,—первое, что вы учитесь видеть из незримого. Большинство людей совершенно слепо даже по отношению к обыкновенным цветам, другие различают их только отчасти, не делая разницы в оттенках, не вдумываясь, и только очень немногие чувствуют . . . Это те, кто уже приближается ко второму зрению. Вот Марина Пав-

ловна, например, может рассказать вам, как отталкивающе действует на нее холодный ярко зеленый цвет, как неприятен бурый, веселит желтый. Спросите ее, она вам скажет не хуже меня!

— Мы еще и разноцветные, профессор! — подмигнул развеселившийся Юрка. — Дарочка наша наверно ярко-красная, как кумач! Но господин граф, я не решаюсь прямо задать вопрос, а мне очень хочется, и вы наверно уже прочли мои мысли!

— Мы все здесь вроде щенков перед большой собакой — а всетаки я его спрошу — если он может, пусть покажет! — скороговоркой произнес граф, и тон его голоса так походил на тон Юрия, что все рассмеялись — даже профессор.

— Вы хотите, чтобы я показал вам фокус? Вырастил здесь на полу пальму, или прошел через стену? Я покажу вам другое, гораздо серьезнее, и притом не сверхестественным способом, который вы все равно примете за трюк, — а при помощи простого телевизора, только усовершенствованной конструкции. Думаю, что это будет лучше, но предупреждаю заранее: страшно...

Они прошли в библиотеку, где дворецкий расставил кресла перед большим зеркалом. Около зеркала стоял глобус на подставке, соединенной сетью проводов с узкой доской под зеркалом.

— Значит, вы все таки нуждаетесь в аппаратах? — не утерпел Димитрий Петрович, с любопытством разглядывая конструкцию.

— И да и нет. Я могу увидеть в любой момент любую точку земного шара и безо всяких аппара-

тов. Для этого требуется некоторое усилие, только и всего. Аппарат я построил очень давно, и больше для других — для вас хотя бы.

— Но если вы просто можете увидеть, скажем, Москву, то разве не можете показать ее нам?

— Могу. Но для этого придется преодолевать косность материи вашего организма, и вы можете подумать, что я вас просто гипнотизирую, да и придется каждый раз прибегать к моей помощи. А аппарат я могу всецело предоставить в ваше распоряжение. Сперва я объясню Димитрию Петровичу, как инженеру, самое главное, а вы покажете уже Юрию и остальным. Итак . . .

— Провода от глобуса соединены с зеркалом. Выбирайте ту часть земного шара, которую хотите, и регулируйте . . . Здесь регулировка звука. Поставьте совсем тихо — увидите, почему . . .
Димитрий Петрович разобрался быстро — управление действительно казалось простым.

— Что же включить, господа?

— Москву! Нью Йорк! Париж! Мюнхен!

— Нельзя же все сразу . . .

Зеркало помутнело, затем прояснилось. На нем появилась карта страны с птичьего полета. Карта приближалась, быстро росла, мелькнула река . . . туча дыма, как при пожаре.

Рука Димитрия Петровича прилипла к рычажку. который он медленно поворачивал, как стрелку, по движению часов. В зеркале проплывали картины страшного зарева. В тяжелых, черных и кроваво красных тучах сверкали молнии. Тучи заполняли все небо, воздух, ложились на серую,

выжженную землю. Кое где торчащие еще деревья были страшного лилового цвета. Блеснувшая на мгновение река кипела. Проносился ураган, со свистом расшвыривая бесформенные обломки над грудами развалин.

— Это Европа — раздался спокойный голос графа.

В зеркале встал громадный черный вал и все смешалось, проваливаясь в пучину.

Димитрий Петрович резко выдернул провод, и зеркало потухло.

— Это неправда! — вскричал он. — Вы показываете нам нарочно какие то ужасы из волшебного фонаря! Что это такое?

— Я вам ничего не показываю — возразил граф. — Аппарат передает на телеобъектив происходящее во времени на земле. О неизбежной катастрофе говорили и ваши ученые, предупреждали, хотя и не могли предвидеть всех ее размеров и последствий. Вот они и происходят.

— Но где же воюющие армии?

— «Поднявший меч, от меча и погибнет», — так, кажется, написано в одной из священнейших книг человечества? Книги, может быть, где нибудь и остались — но армии погибли. И не они одни.

— Многоуважаемый граф — вскочил профессор, — вы можете делать с нами, что хотите, мы, повидимому, в вашей власти, но ни вашим словам, ни этому дурацкому зеркалу мы поверить не можем!

— Знаю, — улыбнулся граф. — Другие — там на земле не верили тоже. Но с ними уже покончено. Теперь дело идет о вас лично. Я мог бы, конечно, переменить вашу психику внушением, навязать вам свою волю. Но человек свободен и прежде всего свободен. Вы сами должны придти. . .

— А для этого разрешите нам прежде всего уйти отсюда! — воскликнул профессор.

— В то, что сейчас творится там?

— Вы же сами говорили, что владеете силами материи. Сделайте нас неуязвимыми. Кстати, вы же утверждали, что продлили нашу жизнь на несколько сот лет уже? Значит, с нами ничего не может случиться. Мы отправимся, посмотрим и потом, если убедимся, что на земле действительно творится что то невообразимое, вернемся, чтобы вы помогли нам.

— И вы говорите за всех?

— Да, разумеется!

— Но вы даже не потрудились нас спросить, профессор, — резко сказала Марина, поднимаясь. Все обернулись на нее с удивлением, а Димитрий Петрович успокаивающе сжал ее руку. Но Марина решительно выдернула ее.

— Мне кажется, что каждый должен говорить сам за себя, — твердо сказала она. — Граф Сен-Жермен — поскольку ему угодно так себя называть, — с самого начала предложил нам стать его учениками. Вы не верите ему, и ставите условия. Даже не условия: вы просто хотите во что бы то ни стало уйти отсюда, и вернуться в прежнюю жизнь. Но даже если это и не так, то я то не хочу

возвращаться такой, какой я была, какой я есть сейчас. Я остаюсь здесь, и если учителю будет угодно взять меня ученицей, я готова.

— Этого я от вас не ожидал, Марина Павловна, — медленно, но веско сказал Димитрий Петрович. — Я, конечно, присоединяюсь к профессору. Могу со своей стороны обещать, что вернусь сюда, если положение на земле действительно катастрофическое — быть может, здесь мы сможем сделать что нибудь, или хотя бы жить, но . . . я должен убедиться.

— А вы, Юрий? — Граф спокойно смотрел на юношу, и не нужно было уметь читать мысли, чтобы увидеть, как тот борется с собой. Юрий тряхнул наконец головой.

— Я Марины Павловны не оставлю, — сказал он звенящим голосом. — Она мне . . . вроде как бы мать. Или сестрой стала, не знаю. Знаю только, что поступает правильно. Уж очень бы мне хотелось — Ростов на Дону посмотреть. Родной город. Ну да, аппарат здесь остается. Если можно — увижу. А так, господин граф — принимайте в ученики тоже, рад стараться! Раз вы уж все равно мысли читаете, то не обижайтесь на грубость: мы вас все сумасшедшим считаем. Но я так думаю: я и от здоровых людей много всяких глупостей, а главное, много всякого зла слыхал. Вы же, если будете учить, так ничему дурному, а хорошему наверняка! И не такой уж я дурак, чтобы ничему не научиться. Вот рука!

Он шагнул вперед и протянул графу руку. Граф молча ответил пожатием и внимательно

взглянул, как бы подбадривая, на сразу побледневшего Юрия — тот чуть не пошатнулся, пожимая графу руку — от нее исходил как будто электрический ток.

— Ничего, дорогой друг, — пробормотал граф так тихо, что его расслышала только Марина, — вам еще не совсем безопасно прикасаться ко мне, но сейчас вы уже чувствуете себя сильнее, не правда ли?

— А обо мне вы и думать забыли, как будто меня вовсе нет, — обиженно произнесла сидевшая в уголке Дара. — Я, конечно, тоже ушла бы. В гостях хорошо, а дома лучше. И потом я уже среднюю школу кончила, и никуда больше учиться не собираюсь, кроме как драматическому искусству. И мне надо думать о будущем.

Но о будущем Дары не думал никто.

— Итак — начал снова граф, вы, профессор, все таки взяли на себя слишком много, говоря за всех. Двое хотят остаться. Ну что ж . . . если бы я не знал, что вы вернетесь, то, может быть, отнесся к этому иначе. Хотите сами убедиться — пожалуйста. А теперь обсудим, как это сделать технически. Картина земли на экране не произвела, повидимому, на вас должного впечатления, но я не имею права выпустить вас неподготовленными. Умереть вы не можете, правда — но над громадными областями земли отравлен воздух — не говоря уже о воде и самой земле. Это цепная реакция — бунт атомов, взрывы возмущенной материи. Остатки человечества поражены страшными болезнями . . . Хорошо. Я предоставлю вам средство

передвижения, и вы будете в нем в полной безопасности. Предварительно мне надо приготовить аппарат и зарядить его всем необходимым. Это займет немного времени. Завтра утром вы отправитесь в путь. До тех пор вам придется поскучать — хотя телевидение, повторяю, в вашем распоряжении...

— И вы думаете, что он сдержит свое обещание?! — вскочил профессор, как только за графом закрылась дверь.

— Он то — да, но помните, что и вы обещали вернуться, — спокойно сказала Марина.

— О возвращении разговор будет потом. Но вы то, вы то! Вот уж не ожидал. Серьезная женщина, и вдруг...

— Я считаю, что мы не можем допустить, чтобы Марина Павловна осталась здесь.

— Позвольте, Димитрий Петрович, а я на что? Уж и не в счет?

— Юра, не обижайтесь. Вы просто слишком молоды и, простите, неопытны. Можете не заметить чего нибудь — пока уже не будет поздно...

— Так оставайтесь сами!

— При всей моей любви к Марине Павловне, я не могу допустить, чтобы единственная возможность выбраться отсюда оказалась под угрозой! Меня одного граф может и не выпустить. Это не по товарищески! Из за женского каприза мы все можем погибнуть, Бог знает что еще с нами здесь

может случиться! Вы очень много на себя берете, Марина Павловна!

— А я попрошу вас, профессор, не выходить из рамок. Совершенно не понимаю, почему вы все время пытаетесь выступать от имени всех. Каждый отвечает сам за себя, если он взрослый человек. Я не уговариваю вас остаться, например, и даже больше: уверена, что через несколько дней вы сами попроситесь обратно — и это будет вам хорошим уроком. Если половина, даже десятая часть того, что вы видели сейчас на экране — правда, то я рада здесь чистому небу над головой! Помочь ведь я никому не смогу, а погибнуть? Это всегда еще можно. И, в противоположность вам всем, я — верю графу, и этим все сказано.

Она встала и вышла в сад. Димитрий Петрович, после некоторого колебания, последовал за ней.

— Марина, — сказал он, снова беря ее за руку. — Вы все таки... подумайте. Вы мне... очень дороги, Марина. Я думал, что мы... пойдем по одной дороге. Конечно, я вернусь, хотя бы за вами, но...

— А я буду вас ждать, — просто сказала она, и крепко пожала ему руку. — Возвращайтесь, Димитрий!

Она повернулась и быстро пошла, не оглядываясь, к лесу. Такой же веры требовать от Димитрия она не могла: пусть он убедится сам. Сама она знала, что поступает правильно: но у веры — нет доказательств. Вот, когда он их получит, и вернется...

Димитрий Петрович был возмущен гораздо больше, хотя не признавался в этом и самому себе. Он уже свыкся с мыслью опекать Марину, и это не было обязанностью, а естественным стремлением. И вдруг — так просто, хладнокровно, так само собой разумеется, по женски — она заявляет, что больше верит какому то не то сумасшедшему, не то очень уж таинственному графу, которого видит первый раз в жизни, и отказывается бежать вместе с ним! Но, как только он выяснит, в чем дело, то, конечно, вернется за ней, и тогда . . .

Почти весь остальной день он просидел с Юрой у телевизора, переводя стрелку, и пытаясь уверить себя, что кошмар на экране выдумка больного мозга хозяина, пытающегося их одурачить при помощи каких то технических трюков. Юра, впрочем, был другого мнения.

— Пусть этот старый дурак отправляется один — плюньте вы на него наконец, Димитрий Петрович, ей-Богу. Я может в литературе не очень разбираюсь, но тут, поверьте, это аппарат, а не фокус. Вот, что происходит—это я не совсем понимаю. Но позвольте: производились же опыты со всякими атомными и водородными бомбами? Одна опытная бомба повышает радиоактивность в атмосфере вообще, скажем, на какой нибудь десятый ноль процента — а если их десять сразу во время войны взорвется? Или сто? Да на одном, так сказать, месте? Вот, этот ад сейчас и есть. И ученые писали,

что атом может взорваться совсем не тогда, когда хочешь, и одно пойдет за другим, реакция, даже войны не нужно. Вот и произвели эксперимент. А война ежели — так прямо с бомбы и начнут — это не старое время: «иду на вы». И почему только дают ученым оружие выдумывать?

— А вы думаете, что если бы Запад не стал вооружаться, так Кремль так бы и сидел, сложа руки? Кто стремился к мировому господству, как не коммунисты? Не будь этого страха перед коммунизмом . . .

— Димитрий Петрович, а почему надо было допускать тому же Западу, чтобы этот страх вырос?

— Юра, теперь поздно доискиваться до причин. Ну, совершили ошибку, еще после великой бескровной . . . Так что же делать?

— Вот про то я и говорю. Я, Димитрий Петрович, в комсомоле был, но потому, что все из детдома были. Сексотов ненавидел просто, НКВД боялся не меньше, чем люди здесь коммунистов боятся, а больше. Посмотрел теперь и здесь. И скажу: о правде там у нас слыхом только слыхали, но здесь ее тоже нет. Кто сам горя не испытал, тот ничего не понимает, а часто и горя хлебнул, и только злее стал. Не умею выразиться, но так, как я, многие думают. А где то должна быть правда. Марина Павловна мне про незримый мир говорила, четвертое измерение. Здорово выходит. Может быть, в том и ошибка, что мы все . . . и не мы, а до нас, отцы и деды, и все вообще, люди . . . один хочет деньги нажить за счет других, а другой коман-

довать, а третий кроме своих винтиков ничего не смыслит, и думать не хотят все . . . Димитрий Петрович, вы верите в Бога?

Вопрос застал врасплох.

— Откровенно говоря, Юра . . . не задумывался. Да и некогда было. Сами знаете, какая жизнь у нас была. Сюда пришел — тоже заново все устраивать надо было, одно, другое . . . В церковь я, правда, хожу иногда, мать приучила . . .

— Ну хоть бы так. А ведь вы хороший человек, образованный, но времени у вас нету. И так у вас у всех. То одно, то другое. Мне кажется теперь, что если в Бога верить, так для этого не только в церковь ходить надо, а вообще как то иначе жить. А то выходит — в баню раз по субботам ходишь, и все остальное время сам в грязи валяешься. Вот видите, граф мысли читает — просто, как по книге. Скажем, мы с вами тоже выучимся. Что получится? Значит, среди нас сексотов всякого рода не может быть — сразу увидим, разоблачим. Кто мне друг, кто нет, вижу сразу и вижу, заметьте, кто из нас глуп. У дурака, я представляю, мысли, как трактор ворочаются, а у другого — как шикарная машина летят. Значит, на место начальника, заметьте, мы уже не сможем дурака выбрать, бездарь или мерзавца. Второго Сталина не будет . . . замечаете, какие горизонты? Похоже, что тогда и вооружаться не было бы против кого. . .

— И все так сразу станут доброе думать?

— Ну, не сразу, но хоть привыкли бы, что со злом никакой расчет не получается. А сколько хороших и по настоящему умных людей на свете

живет! Думаете, они у дел? Ничего подобного. У нас, во всяком случае, бьются, как рыба об лед. На местах то другие сидят, они и распоряжаются. А если бы наоборот было? И потом — любовь. Сколько я таких парней знаю: женится, сразу ребят наплодит, а жены, заметьте не любит никак, сам над ней смеется, при случае и поколотит, а уж как с товарищем сойдется, так чуть не матом ее кроет. Ну, а потом смотришь, вырастают, у него такие пацаны, что только так. А ей как будто и все равно, пусть только деньги дает. Разве это правильно? Разве это такая любовь, про которую в песнях поется, да и не только в песнях она такая всегда должна быть?

У одного голубой платочек мелькнул в уме, у другого сразу встало: сапфировый браслет на руке у Марины... неужели она могла подумать о графе, как..? И уже стало стыдно: вот если этот паренек мог действительно прочитать его мысли? А может, согласился бы?

— Конечно, и среди наших многие набрасываются на двойные спальни и холодильники...

Это Юрка говорит, или его мысль продолжает?

— И это было бы ничего, поскольку очертела жизнь в коммунальной квартире, но есть же и другие...

Конечно, замок, стиль... нашим, по крайней мере, все это до лампочки...

— Но я должен вернуться, — сказал он вслух твердо, и Юрка удивленно поднял брови.

— А как же иначе? Обязательно. Ждать будем!

Когда Димитрий проснулся од удара грома, сразу поднялся, протянул руку — на столике вспыхнула свеча. Удивительно, но здесь не было ни штепселей, ни спичек. Свечи вспыхивали ровным, ярким, но живым, колеблющимся светом — стоило только протянуть руку в их направлении. Сен-Жермен не объяснил ему формул, только сказал, что займется с ним потом вопросами энергии и света . . .

Но в комнате был и другой свет. За широко раскрытым окном стучали капли дождя, ветер

колыхал занавески. Над долиной бушевала буря, молния неживой голубизной заливала комнату.

Не спалось. Димитрий подумал, потом встал, накинул халат и вышел в коридор. Почти сразу открылась другая дверь, — и в нее просунулась всклокоченная голова профессора.

— Не спите? — пугливый шепот.

— Нет.

— Пойдем в библиотеку. Мне давно уже хотелось . . .

Он не договорил, но у обоих была та же мысль. Они потушили за собой свет и спустились, почти крадучись, вниз. В замке было тихо.

— Вы сможете справиться с аппаратом? — вполголоса спросил профессор.

— Попробую.

— А то, знаете, он показывает, а сами мы . . . Впрочем, он ведь сказал, что можем пользоваться.

— Откровенно говоря — мне почему то кажется, что это не так уж нужно. Но давайте все таки попробуем.

Димитрий включил и соединил провода. Экран осветился.

— Я забыл только выбрать место на глобусе — но, все равно.

Свет стал очень ярким, нестерпимо зеленым. Душной, гнетущей жарой несло с экрана. Картины наплывали одна на другую, удалялись, приближались снова. Старые леса стояли неподвижно: карликовые деревья, громадные папортники — и никаких птиц, никаких зверей, полное молчание.

Но вот лес кончился — на опушке что то зашевелилось.

Профессор зажал себе рот, чтобы не вскрикнуть.

На примятой траве шевелились человекопауки. Вытянутый хребет, непомерно длинные руки и ноги с гигантскими пальцами, разбухшая голова и безбровые, круглые глаза, с невероятной злостью смотревшие вокруг. Они были голые и двигались необычайно быстро, перебирая ногами, руками и пальцами.

— Что они делают?

— Это — пикник — с дрожью сказал Димитрий.

Да, это был пикник. Один паук приподнялся и сел на корточки; в пальцах его ног были зажаты два барабана, и каждый палец, величиной с человеческую руку, выбивал по ним дробь. Пауки раскрыли рты и видимо что то запели, сплетаясь друг с другом в пляске. Самки были гораздо больше самцов и все, повидимому, беременны, с громадными отвисшими животами.

— Меня тошнит, — прошептал профессор.

— Вы же хотели видеть, что делается в мире. Смотрите.

Но больше нельзя было смотреть. Музыка прекратилась. Одну самку вытащили на середину и все остальные присосались к ней. Она кричала и отбивалась, но быстро затихла. Содрогаясь от наслаждения, остальные высасывали ее — было ясно видно, как опадает кожа, как будто в ней не было

костей, и тряпкой свешивается с бесформенной груды чего то отвратительного.

— Нет, на такое нельзя смотреть — простонал профессор.

— Мутация генов, — спокойно произнес голос. Сен Жермен стоял позади них и как только экран потух, зажег высокую голубую свечу. От нее шел чистый, свежий запах.

— В некоторых областях она произошла невероятно быстро. Немногие, родившиеся после катастрофы, были уже идиотами, мозг почти отсутствовал, кости оказались слишком слабыми, чтобы стоять на ногах. Они ползали и размножались с невероятной быстротой, как клопы. Чрезвычайный половой инстинкт появлялся уже у детенышей, и мутация шла дальше. Они сожрали всех оставшихся еще животных, и, если бы не пожирали друг друга . . .

— Где? Когда? — простонал профессор.

—На земле и во времени. Но вы еще не можете отрешиться от привычных вам понятий. Поэтому я и не показываю вам того, что вы не можете перенести — даже я содрогаюсь иногда, когда вижу результат . . .

Голубой свет свечи что то напомнил Димитрию. Где он видел этот сияющий, благостный оттенок? Сикстинская Мадонна!

— От Сикстинской Мадонны — до пожирания паучьей самки — сказал он вслух и вздрогнул.

— Кто бы мог подумать — тупо уставился на пустой экран ошеломленный профессор.

— Подумать могли бы вы, и это именно то, чего вы не сделали, — непривычно резко сказал Сен-Жермен.

— Припомните, дорогой профессор, о чем вы думали за всю вашу жизнь? Вы тоже носите в себе все то, что создало этих пауков — и в вас есть их частица.

— Но наши ученые предполагали . . . — начал неуверенно Димитрий.

— Вот именно. Предполагали, потому что никакими опытными взрывами нельзя было установить в точности того, что произойдет, когда это перестанет быть только опытом. Сколько времени потребуется для мутации — в чем она выразится? Жертвы Хиросимы говорили слишком мало. Говорилось только о грядущем ужасе, и делались новые бомбы.

— Но мир разделился на два лагеря и один, коммунистический, не останавливался ни перед чем.

— Графическое изображение формулы: «хочешь мира, готовься к войне», представляет собой змею, кусающую себя за хвост. Я бы мог сказать вам, что прежде всего не следовало допускать не только такого расширения коммунизма, но и его возникновения вообще, допускать такие условия, при которых он мог возникнуть — но к чему это? Теперь уже поздно перерешать судьбы мира. Вы можете только убедиться, что путь был неправилен. И что бы вы ни смотрели в этом аппарате, он покажет вам во времени — одно и то же, в сущности: катастрофу и гибель — конец ложного пути.

— Что означает ваше постоянное выражение: «во времени», граф?

— То, что время понятие относительное, и вам это должно быть известно, — уклончиво заметил Сен Жермен. — Сожрали ли пауки Сикстинскую Мадонну через двадцать — или сто лет после катастрофы — не все ли равно? Передвигайте стрелку часов, как хотите — но важно ведь то, что пауки в каком то отрезке времени остаются. Не надо только долго засматриваться на них — опасно для вас. Выпейте лучше чистой воды — не бойтесь, это не сонное вино, а из самого сердца горы. Очень освежает и прогоняет злые мысли . . .

Он зачерпнул воды из маленького фонтана, бившего на столе в углу, как дрожащий графин, отпил сам и жестом предложил им.

— И вот еще относительно ваших мыслей — то есть, чтобы читать их, граф. Вы читали — то есть, простите, вы не могли, но после войны появилась такая книга . . .

— Знаю. Орвелла, так называемый фантастический роман. Интересно, что многие, читавшие эту книгу и искренно ежившиеся от ужаса, совершенно не видели,что они часто уже окружены теми же самыми выхолощенными роботами духа, которых автор вывел в своем романе. Но вы хотите сказать, что я проповедую как бы то же самое?

— Если все начнут . . .

— Вот именно. Сразу уже совершенно ложная предпосылка. Если говорить о втором зрении для «всех», то только потому, что каждый может и должен был бы дать себе труд приобрести эту

способность. Но все, во всяком случае, не могут научиться этому с такой же легкостью, с какой можно научиться читать и писать, совершенно не меняя этим своих духовных качеств. О них вы и забываете постоянно. Чтение мыслей у Орвелла — это неслыханное насилие и слежка темной, злой воли, подавляющей все человеческое. Второе зрение — это способность воспринимать окружающий мир и разбираться в нем, которую можно развить только после долгих испытаний и работы над собой, воспитания в себе прежде всего высшей духовности — а она, согласитесь, не допускает зла.

— Иерархия аристократизма?

— Если хотите, — да, конечно. В духовном плане всегда должна существовать та же лестница восхождения — чтобы бороться с нисходящими ступенями — как во всей природе. Вы ведь ничего не имеете против того, что человек является более развитым и высоко стоящим животным чем, скажем, собака? Следовательно . . . Но вам, пожалуй пора отдохнуть. Не беспокойтесь. После этой воды вы заснете спокойно. Хватит с вас и того, что вы увидите потом — уже не на экране, а наяву.

Мы будем ждать, — сказала Марина, протягивая на следующее утро руку Димитрию. Сапфиры лучились на ее кисти попрежнему ровным, успокаивающим, как ему показалось, светом.

Но завтрак был скомкан. Они поглядывали на дверь. Графа не было. Профессор вопросительно обернулся к дворецкому, но тот вместо ответа указал на окно.

Они быстро поднялись и вышли на ступени террасы. На лужайке перед замком отсвечивала перламутром сигарообразная машина с небольшим пропеллером, походившая на вертолет.

— И кабинка тоже из стекла, — сказал Юрий.

— С той только разницей, что это стекло непроницаемо ни для каких лучей, кроме света, — заметил граф, выходя из машины — вести ее вам придется вероятно по очереди, поэтому садитесь оба, чтобы я мог вам показать. Управление упрощено до крайности, а выше обычной атмосферы вы не подниметесь.

Вертолет поднимался отвесно, кружился, скользил на бок, держался неподвижно в воздухе, и развивал стремительную быстроту.

— Ох бы мне... на такой... — с завистью сказал Юрий. — Ну, когда они вернутся, я попрошу у графа тоже слетать. Хоть над этой лужайкой!

— Теперь мы простимся, — сказал граф, когда вертолет спустился, — и еще раз последнее наставление: открывать кабинку можно только в том случае, если увидите голубоватый оттенок воздуха. Иначе вам придется пережить неприятное отравление, а мне — спешить к вам на помощь. Запаса чистого воздуха в кабинке вам хватит на неделю — советую пробыть не больше трех дней — этого хватит, чтобы увидеть достаточно. Через три дня поворачивайте обратно — просто переводите стрелку, как я вам показал, и выключайте скорость. Еды и воды у вас довольно тоже. Даже если вы и выйдете в безопасном месте, пользуйтесь только собственными запасами, потому что не можете знать наверное...

— А мы можем следить за их полетом на экране? — спросил Юрий.

— Конечно, даже так лучше будет. Сидя здесь, увидите все, что происходит с вашими друзьями, и им не придется потом рассказывать.

— Одну минуту, — сказал профессор. — Вы, я вижу, совершенно уверены в нашем возвращении. А если все таки ... ну, почему либо, мы не сможем, не захотим? Раз вы будете следить за нами, значит узнаете об этом — и что тогда?

— Если вы не сможете, — а это случится только по вашему неразумию, то я помогу вам, как уже сказал — медленно произнес граф. — А если не захотите сами, и твердо решите остаться — то я уничтожу аппарат, и тогда вы больше никогда не найдете дороги сюда.

— Значит у вас есть лучи, уничтожающие на расстоянии?

— Можете назвать это лучом.

Профессор помрачнел, коротко поклонился, даже не глядя на Марину, и первым сел в вертолет. Димитрий Петрович поклонился графу, пожал остальным руки и подбодряюще улыбнулся.

— До свидания, господа! Смотрите за нами хорошенько. Сменяйтесь у телевизора, а то устанете!

Он уже готов был захлопнуть дверцу, как его прервал крик Дары, молча стоявшей в стороне.

— Димитрий Петрович, а я? Обо мне совсем забыли?!

— Дара, — мягко сказал граф, — я еще раз советую вам не отправляться. Поверьте, что вы совсем не подготовлены к тому, что увидите. Посмотрите на это лучше на экране.

— Нет, нет, я не останусь, ни за что!

— Вы боитесь остаться здесь, но там будет еще страшнее.

— Нет, нет, не держите меня! — прямо уже кричала Дара.

— Вас никто не держит.

— Садитесь, Дара, — неохотно сказал Димитрий Петрович. — Да у вас и багаж с собой есть?

Теперь стало понятно, почему Дара держалась в стороне. Она надела сегодня свое старое платье, но держала за спиной небольшой, плотно набитый мешочек.

— Это — платье, — отрывисто сказала она. Марина покачала головой, и ей стало неприятно, и еще более от того, что Дара, подбежав к ней вдруг, неуклюже обняла ее и поцеловала в щеку. Пестрая юбка взметнулась, как флаг, в захлопнувшейся дверце самолета.

Машина сверкнула, как облако, поднялась — выпрямилась — и исчезла за скалами.

Сразу стало пусто. Свои ведь. Пусть профессор и рассердился на нее, потом самому станет жаль. А Димитрий . . . и даже эта глупая девчонка . . . как же она так нехорошо поступила: взяла драгоценности из своего ящика и . . .

— Именно взяла — раздался спокойный голос графа. — Отвыкайте прежде всего думать дурно про других. Дара вчера весь вечер боролась с собой. Интересно все таки проследить, как вечные этические начала заложены в каждом человеке, как бы примитивен он ни был. Она не могла поверить, что это настоящие драгоценности, и не

имела представления о их стоимости. Но на что оставлять их такому сумасшедшему, как я, и притом мужчине без жены и детей? Если же это действительно золото и драгоценные камни, то тем более нечего: здесь в лесу они никому не нужны, а ей — хватит на всю жизнь. Ночью она вскочила и пошла спрятать их в машине заранее, но не могла открыть дверцы. Потом испугалась, что я узнаю. Потом твердо уверилась, что я не стану читать ее мысли, мне они не интересны. И, наконец рано утром пришла ко мне, страшно смущенная, и долго не могла выговорить своей просьбы.

— Значит, скрыла только от нас?

— Боялась, что поймете превратно — что и случилось.

— А вы все время следите за каждым из нас? — спросил Юрий.

— Нет, конечно. Только, когда у вас что нибудь серьезное на душе — тогда просто вижу.

— И вы твердо знаете, что они вернутся?

— Представьте себе, Марина, что нет, — вдруг усмехнулся граф, и от этой, почти веселой улыбки стал вдруг ближе, человечнее. — Конечно, я могу увидеть будущее. Но мне просто хочется произвести некий опыт — и я не заглядываю в него сам. Уверен, однако, что да.

— Господин граф, можно задать вопрос? Почему из всех людей вы выбрали именно нас? Чем мы лучше других, и почему вы выбрали таких разных, как скажем, Марина Павловна и Дара? Я и профессор?

— Я тоже хотела это спросить. Если сейчас в мире катастрофа — то как же другие народы? Почему спасены именно мы, ничем особенным не отличающиеся, когда есть столько прекраснейших, умнейших людей?

— Выбор был сделан не мной. Мой кругозор тоже ограничен, Марина, хотя он неизмеримо выше вашего. Я не могу распоряжаться судьбою людей, но твердо уверен, что и другие бессмертные тоже спасут того, на кого им будет указано. Не стоит задавать себе вопросов выше нашего понимания. Это тот яд, которым были отравлены плоды от древа познания добра и зла. Но вы напрасно считаете себя такими разными людьми. Помимо языка и отчасти крови, у вас всех, например, не осталось на земле близких людей, от разлуки с которыми вы могли бы страдать. И есть еще одно, очень важное: вам всем свойственно стремление к высшему, тоска по идеалам, а следовательно — к познанию Бога. Подумайте — и увидите.

— Поэтому Дара пришла к вам и попросила подарить ей цацки, а не украла их?

— Совершенно верно. Юрий. А Дара стоит гораздо ниже вас, казалось бы — просто кусок мяса, в лучшем случае способна проявить материнский инстинкт, ничем не отличающийся от инстинкта животного. Я боялся, что она не противостоит искушению — и очень обрадовался, когда она пришла. И для вас это хороший урок. Учитесь, как надо воздействовать на дремлющую душу, чтобы она проснулась . . .

Он оборвал, взглянул на Юрия и рассмеялся.

— Побольше скромности, молодой человек! Совершенно правильно: мы «сунем ее в детский сад», но и вам придется сесть на скамейку — скажем, в приготовительном . . .

— А в какой класс меня? — спросила Марина.

— Чего там класс. Прямо — факультет, — буркнул Юрка.

— Да, с вами надо начинать с экзамена . . . после легкой подготовки.

— Вместе с профессором?

— Он больше вас всех скован традиционностью, и боится мыслить. После того, что ему придется теперь пережить, станет доступнее. Он верит искренне, но ревниво оберегает свою веру, и ему кажется, что если в книге поставлена не на месте запятая, то это уже грех. Вы смелее и дерзаете, а главное ваше достоинство — это интуиция, чисто женское, шестое чувство. Поэтому вы стоите сейчас ближе к порогу, но потом профессор, быть может, перегонит вас. У него другой путь.

— А наш Димитрий Петрович?

— Хорошо, что вы спросили, Юрий. У Марины не хватило смелости. С ним будет труднее всего, между прочим.

— Именно с ним? Но ведь он такой хороший человек?

— Безусловно. Не делал зла, потому что не хотел запачкаться, смутно чувствуя, что это — зло. Но и не задумывался над ним. Принимал жизнь, какой она есть, стараясь не идти против своей совести. Скептик по натуре, снисходительный и к себе, и к другим — и не верящий, в конце концов,

ни во что. Довольно образован и умен, но — инертная масса, и упорно цепляющаяся за свою инертность. Вы, Марина, станете учиться у меня по сознательному убеждению, Юрий — полусознательно, но порывисто, он увлечен. Дара — из страха — и по доверчивости, она нашла во мне сегодня опору. Профессор — отчасти из отчаяния, отчасти из желания опровергнуть меня, сразить моим же оружием. И только Димитрий — из любопытства. Его увлекает пока что только игра мыслей и цифр, техника, машина — а не дух. Но нам пора посмотреть на них . . . Пойдемте в замок.

О бедная, прекрасная — несчастная земля!

За стеклом кабинки — повороты альпийской дороги, где когда то сломался злополучный Караван. Но порыжела трава, деревья, на скалах ржавый, разъедающий их налет. Кое где остовы брошенных на дорогах автобусов, поездов. Серые, лиловые поля.

Сверкающий самолет несется быстро, но кажется, что он почти не движется — так давит эта тишина за стеклом. Тишина, которая слышится, несмотря на жужжанье мотора, тишина выжженных лесов, полей, обезлюдевших сел, городов . . .

Где люди? Где сияющее животворящее солнце? — разве этот багровый, нависший, как зловещая туча, шар — солнце? Тучи закрывают все небо, тяжелая ржаво-серая муть стоит над землей, и нет ни дня, ни ночи — только ужас.

Где цветы, трава, деревья, леса, которые так безжалостно уничтожали, вырубали, раздвигали для беспрерывно множащихся, захватывающих все людей? Где звери, скот, птицы, хоть мошкара — хоть что нибудь живое?

Выжжено, сметено.

Где дома, города, заводы, дворцы, колокольни и башни, музеи и великолепные храмы?

Повалены, разбиты, сожжены, брошены, сметены. Груды развалин. Зияющие кратеры. Кучи щебня. Вздыбленные, перекареженные остовы. Прах.

Где высокие мачты кораблей и радиостанций, гигантские плотины, сеть проводов, мосты и машины, машины, машины,—гордость и «счастье» — проклятие человечества?

Радиобашни лежат на земле, мосты рухнули, и там, где были улицы и дороги — груды вывороченных, заржавевших колес — и просто пыль, прах и пыль.

Где люди, живые, неразумные, страдавшие, надеявшиеся, счастливые и несчастные, умные и глупые, богатые и бедные — и боявшиеся все — больше всего боявшиеся не Тебя, Господи, а того тупика, в который сами завели себя?

Кое где торчат под развалинами обрывки тел, кости. Бесформенная падаль — даже не корм ди-

ким зверям, которых нет. Из под обломков чего то — скорченные, обуглившиеся, разорванные, покрытые какой то странной ржавчиной тела, открытые, молча вопящие рты, остановившиеся глаза, протянутые закостеневшие руки. Они смотрят отовсюду мертвыми глазами на серебристый самолет, пролетающий так близко от них, что кажется вот-вот ухватят его обгорелые пальцы — и рассыпаются в прах от порыва густого, зараженного воздуха.

Нет больше на тебе людей, прекрасная когда то, бедная, несчастная, замученная земля!

— Это ужас, — говорит профессор и в который уже раз вытирает лоб трясущимися руками. — Я не могу. Это не война. Это просто бойня. Но где же бомбоубежища?

— Те, кто не погиб при взрывах и катастрофах, или сгорели, повидимому, мгновенно, если судить по положению тел, или умерли от ожогов. Но кое где видны недавние трупы. Это наверно те, кто вышел из бомбоубежищ — и погиб от заразы. Вы обратили внимание, как они быстро разлагаются? Я нарочно пролетаю так низко . . .

— Я не смотрю, я не могу их видеть. Они мне всю ночь будут сниться. И зачем я с вами полетела? — застонала Дара, охватив голову руками и зажмуривая глаза.

— Теперь поздно, Дара. Возьмите себя в руки. Но вы правильно сказали, Димитрий Петрович, еще перед экраном в замке, что воюющих армий

нет. В одном месте только — оказалось целое поле... наверно, застигли врасплох.

— Вы считаете, однако, что это — атомное нападение? То есть действие, предусмотренное заранее, и мы пролетаем над полем битвы?

— Над погибшим материком, это вернее. А предусмотренность действия... помните споры ученых о безопасности радиоактивного действия после взрыва, то есть от вызова цепной реакции..

— Но испытания показывали...

— Что когда приняты все предупредительные меры, то одна бомба производит разрушение в таком то радиусе. Испытательной войны все таки не вели, неправда ли, а потому одновременного взрыва десятка бомб не было? А кроме того — может быть и сейчас не было войны? При тех запасах, которые скапливались везде, один неосторожный опыт... и конец не только изобретателю. Вы не допускаете такой возможности?

— Ну, нет. Так быстро... не могло быть, чтобы все...

— Вот и все. Мертвая пустыня, где даже воздух отравлен. Мне тоже уже кажется, что эти мертвецы прилипают к окнам. Беру курс на восток. Это была Европа. Америку мы позднее посмотрим.

— Направьте куда нибудь в глушь Советского Союза, а не на Москву.

— Все по порядку. Помните «Машину времени» Уэльса? Мальчиком читал... Разве мог бы тогда подумать, что окажусь тоже в таком аппарате сам!

— Аппарат чудесен. Не знаю, как он выдержит большую высоту, но подвижность изумительна, а управление так легко, как будто всю жизнь его знал . . .

И снова серые поля, снова ржавчина, выметенные ураганом полосы, шириной по сотне километров, как гигантские дороги призраков. И развалины. Трупы, развалины, багрово-черное небо, тишина неподвижной смерти.

Это больная фантазия, ставшая действительностью. Это безумие человеческого ума, преступившего все законы, вызвавшего превосходящие его силы. Это месть материи за насилование расщепленного атома, дьявольского расщепления духа. Это раз и навсегда оконченный спор для тех, кто лежит теперь, разлагаясь — за власть, которой больше нет, за место под солнцем, которого нет, как нет и ничего больше — даже могил.

Знания, наука, техника; искусство, природа и извращение, страдания, преступления, вера и безбожие — ничего нет больше на земле, на которой не нашлось места для Бога.

Из за самой высокой любви — повели войны, и стала любовь коммунистической ненавистью.

Все равно, ничего нет больше. И слов не найти, чтобы понять это «нет», ибо не может себе представить человеческий ум — очень многих, совсем простых понятий. «Нет», ведь тоже просто, закончено в себе, нерушимо, как смерть. Значит, полный конец, ничего не осталось и — что же дальше?

Так же невозможно понять, как и бесконечность. Вот, смогли раздвинуть горизонты, размеры

Вселенной. Телескоп, микроскопы, микрокосмос, макрокосмос, спектральный анализ, электронные фотокамеры — и многое другое для специалистов. Да, узнали, что в Млечном пути могут быть миллиарды солнечных систем. Мертвое знание — скользит, не задевая, не вызывая никакой другой мысли, что за каким то пределом — что то дальше . . . что?

— Мне кажется, что мы на Марсе, — говорит профессор, лицо которого тоже стало землисто-серым. — Это не наша земля. Временами мне кажется, что я схожу с ума — и тогда физическое чувство, что меня поддерживает чья то рука, или как теплое облако защищает от холода, от этого резкого, пронзительного ужаса. Может быть, это наш хозяин, граф Сен-Жермен посылает нам вслед свою мысль — я начинаю думать, что он действительно может это сделать.

— Поздравляю вас, дорогой профессор! — улыбнулся граф, сидевший вместе с Мариной и Юрием перед экраном, ни на секунду не выпускавшим серебряного самолета — и мертвой пустыни, над которой он пролетал.

— Я ничего не чувствую, просто оцепенение. —Когда читал описание гибели Хиросимы — хотелось кричать или плакать. А теперь — как на

чужой планете, правда. Не вмещаешь больше. За какой то чертой наступает бесстрастность. Вот в лагере для военнопленных привык же я к тому, что на моих глазах умирали с голоду доходяги, и я был почти равнодушен тоже. Спасительное отупение мозга. Не знаю, помогает ли мне граф, но Даре он помог. Наревелась и уснула.

— И говорим обыденными словами, а сами, как мертвые. Но не может же быть так всюду, Димитрий Петрович! Включайте быстроту, давайте полный ход. Должны же мы найти кого нибудь, узнать, как это случилось! Неужели все, буквально все население земного шара погибло? Были же там — помните на экране — пауки?

— Давайте искать. Но где? Европы нет. Москва разрушена. На Урале, в Сибири, Арктике — в Центральной Азии? Но всюду были атомные центры . . .

Они долго искали, сменяя друг друга за рулем, без сна и отдыха, поворачивая наугад, часто кружась над одним местом — слишком уж разорван, перекарежен был географический атлас — разлившиеся реки, провалившиеся берега, высохшие моря, сдвинутые горы . . .

На утро второго дня — наверно, задремавший Димитрий был разбужен криком профессора:

— Смотрите, смотрите! Голубое небо!

Они пролетали сейчас, замедлив ход, над большой долиной, окруженной дальними хребтами гор, и впервые увидели за это время над нею голубое, прежнее небо. Воздух тоже был здесь прозрачным, а внизу копошились — да, внизу были живые люди.

— Приземляйтесь скорее! Здесь мы можем выйти, здесь ничего не отравлено — видите, зеленая трава и деревья, и там настоящий город. Я даже вижу корову!

Профессор подпрыгивал от нетерпения.

— Не знаю, как насчет приземления . . . — пробурчал Димитрий.

— Что это за люди еще . . . и город странный. Пирамиду они строят, что ли?

— На муравейник похоже. Но это всегда так . . . сверху. Спускайтесь ближе к городу, чтобы не оставлять аппарата так . . .

Пролетели над разбросанными домиками предместья, казавшимися вблизи совсем необитаемыми. Видно было, что заборы и крыши постепенно сносились — очевидно, для большого странного холма посредине, из которого торчали трубы и провода.

— Электрическая станция, судя по всему. Здесь нам, по крайней мере, смогут объяснить . . .

Они приземлились, раскрыли дверцу и с необъяснимым наслаждением ступили на землю. Чистый, свежий, утренний воздух. За насыпанным холмом виднелся лес — запах хвои доносился и сюда. Дара тоже проснулась, и они нерешительной кучкой двинулись к входу в холм. Две темные фигуры сразу же преградили им дорогу.

— Гориллы! — ахнула Дара.

Гориллами они не были, эти двое обросших волосами, мускулистых, с длинными руками и тупым взглядом из под скошенного лба людей — да, все таки людей. Они молча заградили путь, потом обернулись, как по команде и что то кинули в глубину холма горловым непонятным звуком, размахивая руками, как плетьми.

— Позвали начальника, — определил профессор. — Очевидно, немы или говорят на непонятном языке. Подождем, потому они нас явно не пропустят.

Они с любопытством рассматривали «горилл», не подходивших ближе, когда сбоку раздался резкий свист и со стороны холма по густой траве пробежала целая толпа — людей?

Маленькие, не выше чем под локоть даже Даре, голые, с блестящей и, повидимому, очень твердой кожей светлого цвета, с длинными руками и вытянутым в трубочку ртом, все чрезвычайно похожие друг на друга, все с деревянными выдолбленными ведерками в руках. Они бежали, не оглядываясь по сторонам, повинуясь свисту, по самой прямой дороге на луг, расстилавшийся за зданием, на котором паслось стадо коров.

— Доярки, — сказала вдруг Дара.

— Но ведь это — не женщины вовсе . . .

— Такие же бесполые существа, как и гориллы, между прочим — заявил профессор.

— Это — как в сказках . . . — прошептала Дара с круглыми от ужаса глазами.

Бывают и кошмарные сказки. Из входа в здание молча вышел отряд горилл. Их окружили и подтолкнули вперед. Оставалось только идти — сжимаясь, чтобы не прикасаться к этим существам. Голубое небо в последний раз мелькнуло над головой, и они очутились под сводом широкого коридора.

— Теперь мы попались на самом деле, — прошептал Димитрий. — Это тебе не граф Сен-Жермен в альпийском замке! Тут и он не поможет!

Их вели по коридорам и отдельным помещениям. Гориллы постепенно отставали, убедившись, что они не сопротивляются. Каждый раз они перестраивались по военному — наконец, осталось только двое. Очевидно было, что им показывали по дороге устройство «города»: в отдельных отсеках встречались люди, голые и вроде «доярок». Каждая группа делала определенную и только одну работу: одни размешивали что то, похожее на еду, другие строили стены, третьи выносили сор. Все делалось молча — они переговаривались между собой иногда только знаками и хриплыми возгласами, не похожими ни на какой язык.

Постепенно коридоры начали светлеть. «Людей» стало попадаться меньше, и многие надвигали на глаза козырьки — очевидно, слишком привыкли к темноте. Теперь стража подвела их к двери, по бокам которой горели неоновые лампы, а над дверью — пятиконечная звезда с серпом и молотом.

— Эге ж! — присвистнул слегка Димитрий Петрович. — Ну, профессор, теперь держитесь. И мир погиб, и камни сдвинулись, а партия осталась! Вот уж этого я не ожидал . . .

Гориллы не смели повидимому, переступить порога, и застыли в ожидании, склонив могучие затылки. Из за двери раздался звонок, она распахнулась — и им ничего не оставалось, как шагнуть вперед. «Только бы выбраться, — мелькнуло в уме

у профессора, мгновенно припомнившего все слышанное и читанное о чекистских застенках. — Боже ж ты мой.» Воспоминание об альпийском замке предстало перед ним таким сияющим раем, что если бы Марина с Юрием могли читать по экрану мысли, они рассмеялись бы.

Но и им было не до смеха. Юрий так и впился в зеркало на экране, отразившее большой кабинет, почти все стены которого были заняты распределительными досками, экранами, сложной сетью проводов и аппаратов. Большой письменный стол тоже был перегружен аппаратами и не совсем понятными приспособлениями.

За столом сидел человек в сильно потрепанной военной форме, с квадратными плечами, квадратным лбом и маленькими, пристальными глазами, светившимися холодным металлическим блеском. Но и помимо этого блеска наметанный глаз Димитрия Петровича определил в нем сразу крупного партийца на комбинате.

Он секунду присматривался к ним, сощурив глаза, потом отрывисто спросил, обрубая слова, как человек, привыкший редко говорить необычное:

— По русски понимаете? Что за люди? Да? Откуда? Из Европы? Чушь. Сообщение прервано. Каким образом? Вертолет? Кто вам его дал? Конструкция незнакомая . . .

Он нажал кнопку и на маленьком экране перед ним появилось изображение вертолета перед входом. Машина стояла на лугу, чуть касаясь его колесами, плотно замкнутая стеной сторожащих горилл.

— Ну, разберем... — протянул он. — Садитесь. Сколько лет? Профессия? Преподаватель русского языка? Не нужно. Разговаривать лишнее. Техник? Нет? Переучиться. Покажут. Инженер? Лучше. Нужен. А ты — очень нужна. Молчать.

Он замолчал сам и уставился на них, закуривая длинную трубку с чем то душистым, но мало напоминавшим табак.

— Товарищ майор — жалобно произнес Димитрий Петрович — мы даже не знаем, где мы! От географической карты ничего не осталось. Рады быть полезными, но разрешите спросить...

— Спрашиваю я. Директива партии.

— Партия и Москва лежат в развалинах — вдруг резко сказал профессор, и даже шагнул вперед. — Вам никто не может больше дать директив!

— Ах ты — гад! — Майор вскочил и готов был размахнуться, но также внезапно удержал руку и сел, оскалив зубы.

— Впрочем, прав. Я сам. Партия не ошибается. Я отвечаю! — заорал он снова и принялся нажимать кнопки, повидимому, в диком бешенстве. Со всех сторон раздались звонки, и они испуганно вздрогнули.

Но на звонки открылась только одна дверь и в нее вошел узкий, высокий человек с маленькой головой, втянутой в плечи, с острым профилем. Бледные губы были плотно сжаты в застывшей, извилистой усмешке.

— Успокойся, — кивнул он рассерженному майору. — Ты бы лучше порадовался, что поговорить можешь. Сколько времени мы людей не видали? Только этих . . . подопытных. Так вы, товарищи, наверно хотите знать, куда попали? Понятно. Ну вот я и расскажу.

У него был тягучий, издевающийся голос.

— Рассказать можно все, товарищи, потому что отсюда вам, понятно, выхода нет. Засекреченный комбинат. Подведомственен только лично самому товарищу Сталину . . .

— Давно помер — с раздражением сказал профессор, и Димитрий постарался как можно незаметнее одернуть его.

— Печально, но что же делать? О его смерти нам не известно, но если и так . . . дела не меняет. Распоряжение остается. Партия умереть не может, а мы выполняем важнейшее государственное задание. Последнее достижение науки. Только наш обычный транспорт за последнее время расстроился из за . . . гм, взрыва, но и это будет восстановлено. А тогда, товарищи, мы выступим с замечательным открытием, которое потрясет мир. Полнейшее и абсолютнейшее достижение коммунизма: массы трудящихся, целиком и полностью соответствующие своим функциям. Как сказано, хе-хе: от каждого по способности . . . хе-хе. Сложнейший

общественный организм, действующий без отказа. Идеальное общество.

Он потянулся к столу, взял вторую трубку, и тоже закурил. Глаза его блестели таким же особым блеском, как и у квадратного майора, сидевшего теперь молча за столом, как несгораемый шкаф.

— Мы использовали опыты некоторых прежних ученых . . . к сожалению, бесполости удалось достичь очень быстро, а вот для размножения . . . ваша спутница . . . хе-хе . . . будет как нельзя кстати. Наши матки не поспевают. Мы уже постарались увеличить производство, но все таки рабочих рук не хватает. Приплод получается только через пять месяцев, и не больше, чем по двенадцати детенышей. Но мы, конечно, улучшим его!

Он потер руки.

— Главное, понимаете ли, то, что основная проблема разрешена. Теперь остается вывести ее из лабораторной, так сказать, стадии, на серийное производство, и ничто больше не сможет остановить победоносного шествия коммунизма!

— Но позвольте . . . — пролепетал озадаченный профессор. — Что же это такое . . . гм . . . товарищ?

— Биологическое преобразование человечества. Вы уже кое что видели, наверно, по пути сюда, в центр, в мозг всего учреждения, так сказать. Отсюда идут директивы, хотя, признаться, только моя лаборатория . . . поставляет тех, кто беспрекословно повинуется директивам всех этих проводов и кнопочек.

Он с пренебрежением истинного ученого махнул рукой в сторону письменного стола.

— Путем долгого ряда опытов нам удалось достичь способа произведения двуногих, во-первых, ускоренным способом, а затем уже с самого момента их рождения, направлять их дальнейшее развитие для предназначаемого им места в обществе и исполнения соответствующей работы. Признайтесь: кого вы видели по дороге? Прежде всего, без сомнения, стражу. Неподкупные, бдительные, обладающие громадной силой и выносливостью, настоящие большевики! Затем . . .

— Доярки, — прошептала Дара.

— Совершенно верно. Доярки только доят коров, ибо за скотом ходят уборщицы и кормилицы. Всякая работа, каждый трудовой процесс разложены на отдельные моменты, и каждая группа исполняет только этот отдельный момент. Как на конвейере. И заметьте — добровольно, беспрекословно и добросовестно исполняя директивы. Строгое расписание суток, каждого часа, общежития, время отдыха, кормежки — все предусмотрено, все, как тончайший механизм, работает исправно. Поломки, т. е. больные и калеки уничтожаются сразу. Главное же, что нам удалось этого достичь в невероятный кратчайший срок! Советские ученые еще раз доказали миру свое несомненное, абсолютное превосходство!

— А общественно-партийная жизнь? — невинным тоном осведомился Димитрий Петрович.

Ученый чуть усмехнулся уголками губ.

— У вас устарелые взгляды, товарищ, и за подобную критику вас бы следовало . . . но, принимая во внимание исключительное положение . . . признаюсь, нас давно уже не навещали из центра. Впрочем, мы так заняты нашей плодотворной работой, что даже, признаться, рады до некоторой степени отрезанности от остального мира, поскольку он нам не мешает . . . хотя, по некоторым непредвиденным обстоятельствам это уединение стало уже изоляцией . . . так вот, ответ на ваш вопрос: партийная и общественная жизнь происходит, могу сказать, целиком и полностью в стенах вот этого кабинета. Исключительная поглощенность. . . гм . . . всех сил организма работой по построению коммунизма не позволяет массам . . . отвлекаться узкими, чисто внутрипартийными вопросами. Кроме того, согласитесь, что должен же происходить отбор, отсеивание. Только избранные могут привлекаться к работе в высших органах, неправда ли? Вот мы этот отбор и производим, а остальные — не имеют органов для органа, хе-хе!

Он снова потер руки.

— Зато те, которые избраны, — не сомневаюсь, товарищи, что и вы будете вскоре принадлежать к ним, поскольку вас в вашем возрасте уже трудно переделывать биологически, это должно происходить с рождения, с самого рождения, понимаете? — то вам безусловно, будут обеспечены все удобства . . . Особое питание, например. Курение одного разводимого нами растения, которое чрезвычайно способствует ясности мысли . . . есть еще и многое другое, с чем мы ознакомимся постепенно. Теперь,

однако, пора кончать. Меня ждет работа. Вы только объясните в кратких словах особенности конструкции вашего вертолета, прежде чем мы отведем его в ангар. Ангар был за ненадобностью обращен в мастерскую, но массы сразу расчистят место. Я думаю, товарищ майор, что двадцати масс будет достаточно? Дайте свисток, чтобы уборщики отправили команду в сектор А-восемь! Да... а матку в питомник сразу? — полувопросительно обернулся он.

— Ай! — закричала Дара и схватилась за Димитрия Петровича. — Я никуда не хочу! Я с ними!

— Ха-ха! — рассмеялись оба, ученый и майор.

— Давно так не смеялся — произнес ученый. — Хороши мы были бы, если бы спрашивали, что кто хочет, при построении коммунизма! Тебя будут кормить до отвалу, не беспокойся, и полное удовольствие, только рожай. Чего тебе еще надо, глупенькая! Все наши матки довольны, и живут, между прочим, дольше других. Ну да, ладно. Потом я дам тебе успокаивающий шприц, а пока... пойдем все вместе, я вызову старшего инженера по дороге, — прибавил он, взглянув на майора, сидевшего за столом безо всякого движения, — только трубка попыхивала, и в глазах майора вспыхивали зловещие огоньки.

Ученый быстро направился вихляющей походкой к двери, увлекая за собой остальных, и на ходу нажав какую то кнопку. За дверью гориллы расступились, и последовали в почтительном отдалении. Ученый нагнулся к Димитрию Петровичу и профессору, и быстро зашептал:

— Товарищи, вам надо быть осторожнее. Майор . . . гм . . . слишком много курит. Я произвел над ним вначале тоже несколько опытов, хе-хе, и теперь он может выражать только определенное количество мыслей. Вы мне расскажете потом обо всем, что творится в мире. Сообщение у нас давно прервано, и поэтому я оставляю майора в его кабинете, откуда он может распоряжаться всеми массами, и делает это великолепно, но связываться с внешним миром придется мне, кому же больше, фактически, я глава всей лаборатории, всего комбината. Как функционирует ваша машина? Инженер пусть обращает внимание на детали, мне важен принцип. Я думаю, что нам придется ею воспользоваться впоследствии, все наши машины сгорели во время взрыва, хотя нас затронуло, повидимому, только краем, а теперь нет времени строить новые. Советский Союз должен как можно скорее узнать о нашем открытии! Да что Союз — мир, который будет теперь нам подвластен, целиком и полностью! Мне надоел этот сумасшедший, он совершенно не в состоянии производить работы в грандиозных размерах, хотя я сам виноват, что сделал его таким . . . конечно, нам нужны прежде всего собственные массы, то есть уже подвергшиеся обработке еще до рождения, но при помощи некоторых средств можно обработать и взрослых индивидуумов, как видите. Я назвал этот процесс «приведением к массовости», неплохо, а? У нас мало времени, потому я говорю вам сразу, прямо открываю карты: вы можете быть только на моей стороне, потому что я могу сделать вас

покорными, доступными мне средствами тоже, но я так занят своей научной работой, мне нужны помощники, настоящие, которые могут рассуждать и самостоятельно, и в различных положениях, а не массово. Можете быть уверены, что вас занес сюда счастливый ветер, потому что я вознагражу вас так, как вам и не снилось!

Этот путь по полутемным коридорам, мимо секторов с расставленной повсюду стражей, шаркающие шаги ученого, его вихляющаяся, виляющая от одного собеседника к другому, голова, блестящие даже в полутемноте, возбужденные каким то явным наркотиком глаза, угроза, извивающаяся в конце каждой фразы — и чудовищный эксперимент его «массовости» — это был такой кошмар, такой смертельный ужас, от которого они готовы были кричать, если бы впереди не маячил спасительный выход из муравейника, спасительный самолет, ожидавший их на лужайке!

— За профессора я ручаюсь, — вдруг громко и хрипло сказал Димитрий Петрович, — а что касается меня самого, то должен вам сказать, что, хоть и не совсем еще понимаю ваш эксперимент, но все то, что мы уже видели, меня просто ошеломляет. Ведь это эпохальное открытие. Что там Эйнштейн с его жалкой теорией относительности, о которой столько кричал Запад! Ведь вы тут, в тиши своей лаборатории не относительно, а самым наглядным, самым неопровержимым образом доказали, что можно быть действительно инженером человеческих душ!

Он воспользовался тем, что польщенный ученый взял его под руку, и постарался ущипнуть в бок профессора, открывшего было рот.

— Вы еще видно не совсем понимаете, товарищ, — сказал ученый. — Души . . . ну да, вначале об этом говорилось. Но мы неизбежно должны были придти к тому, чтобы раз и навсегда покончить и с этим, последним буржуазным предрассудком. В коммунистическом обществе таким пережиткам прошлого места нет. Трудящиеся массы должны быть освобождены от ненужного багажа столетий, который мешает им только работать и наслаждаться . . .

Он говорил еще, когда они вышли на лужайку и подошли к аппарату.

— Дара, — спокойно обратился к ней Димитрий Петрович, — возьмите прежде всего ваши вещи из кабинки, да поторопитесь, а то будете там нам мешать.

— Смотрите, товарищ. Один из вас, во всяком случае останется здесь. И не вздумайте чего нибудь . . . Вот идет и наш инженер, так что показывайте нам обоим, в общих чертах, а потом мы уже сами разберемся . . .

Димитрий Петрович открыл дверцу кабинки, и подтолкнул вглубь машины Дару. Но положение было отчаянное. Профессор, отстраненный ученым, стоял в стороне, окруженный стражей. Инженер, подошедший ближе — невысокий серого вида человек с землистым лицом и воспаленными глазами, молча взялся за вторую дверцу. Ученый продолжал держать Димитрия Петровича под локоть,

и не собирался, повидимому, выпускать его из рук, когда тот шагнул в кабинку.

— Здесь двойное управление, рассчитанное на обоих водящих — спокойно, всячески сдерживая свое волнение, начал Димитрий. — В то время, как один регулирует высоту, другой занят только поступлением горючего и регулировкой разницы давления . . . Алексей Алексеевич! — перебил он себя вдруг сердито. — Что вы наделали с вашими рулями! Куда вы сунули контакт воздушного провода? Потрудитесь подойти и посмотреть!

— Игра на психологии — восхищенно ахнул Юрка, не отрываясь от экрана.

Но хотя ученый не занимался чтением мыслей, стремление Димитрия Петровича собрать в машине своих спутников было ему понятно, и он угрожающе свистнул. Гориллы сразу окружили рванувшегося было профессора плотной стеной.

— Бросьте эти штучки, товарищ, — угрожающе процедил ученый сквозь зубы. — Сказано, справляйтесь один. Знаете же вы машину, чорт вас подери, а то и без вас обойдемся.

В эту минуту произошло нечто неожиданное. Граф, сидевший за спиной Юрия, встал, подошел ближе к экрану и нахмурившись, поднял руку. Ослепительная молния, сорвавшись с кончиков его

пальцев, вонзилась в зеркало, змеей обвилась вокруг сторожащих горилл, хлестнула и по ученому, и по инженеру. Как парализованные, они упали на землю с выпучеными глазами.

— Бегите! — раздался голос графа, и ошеломленный профессор поднял голову, не понимая, откуда этот голос.

— Скорей! — крикнул не растерявшийся Димитрий Петрович, включая мотор. Профессор, закрывая почему то лицо руками, осторожно выбрался из лежавших на траве горилл, и бросился к самолету. Кабинка захлопнулась, и машина поднялась в воздух, — во время, ибо из здания бежала уже толпа стражи. Но машина набрала высоту, и только блеснула на солнце серебряным облачком.

Димитрий Петрович, все еще бледный, молча повернул стрелку направления назад. Самолет взял курс на Альпы.

Ну вот, слава Богу, — облегченно вздохнула Марина.

Юрий выключил телевизор и протер глаза.

— Теперь наверно прилетят сюда без пересадки. Завтра можно их ожидать. Попутешествовали и хватит. А что это за дьявольская штука, граф? Неужели партийцы еще сохранились, вот живучее племя! Чем это вы их так здорово? Как бичем хлестнули! Удивляться я уже отучаюсь, но все таки... какое это расстояние? Не меньше тысяч пяти километров, я думаю, и так просто — рукой!

Вы луч смерти изобрели, или это тоже из незримого мира?

— Вы бы, Юра, задавали сразу по одному вопросу, а не десять . . .

— Постараюсь ответить на все, — сказал граф, усаживаясь снова в свое кресло. — В конструкции самолета, Юра, как вы видели сами, ничего сверхестественного нет, и он немногим совершеннее тех, которые уже появились у вас. То же самое и телевизор. Что же касается «луча смерти», как вы говорите, это уже сложнее. Между прочим, они были только ошеломлены электрическим разрядом, и временно парализованы. К тому времени, как ваши товарищи будут здесь, они уже придут в себя и смогут заканчивать свое «эпохальное» открытие . . . О передаче энергии на расстояние вы конечно, слыхали? Дальше лабораторных опытов это не удавалось вашим ученым. Да и что получилось бы, если бы каждый мог уничтожить или хотя бы парализовать любого неугодного ему человека?

— Но вы в состоянии это сделать, и притом без аппарата?

— Да, просто потому, что владею некоторыми силами природы и могу распоряжаться ими по своему усмотрению.

— Значит, когда вы говорили, что вы в замке один, не считая дворецкого, а нас пятеро, и у вас нет оружия, то вы . . .

— Просто успокоил вас с самого начала, чтобы вы не считали, что вам угрожает сумасшедший. Дело не в том, Юра, что я обладаю возможностью

парализовать в любой момент или испепелить любое живое существо, или тысячи их. Дело в том, что я могу, хочу и смею употребить эту силу только для предотвращения какого либо несчастья, и только если это действительно нужно, как в данном случае. Ваши спутники должны были вернуться — и я им помог, как обещал.

— Жаль, что не уничтожили этих двух мерзавцев, — пробурчал Юра. — Я бы не мог удержаться!

— Действительно, граф, — твердо посмотрела на него Марина, — ведь это уже сатанинство. Они калечат людей физически и духовно в чудовищном муравейнике, и это неслыханное насилие, а если вы сами говорите, что человек прежде всего свободен, то как же вы можете допустить такое преступление?

Граф смотрел куда то вдаль, кивая головой в такт ее словам, и она впервые заметила, каким удивительно старым может стать его молодое лицо.

— Вы правы по своему, конечно, Марина. Но вы забываете о разных планах. Эпохальное открытие этого жалкого червяка подсказано ему сатанинским домыслом, безусловно. А вы знаете, чем это кончится?

— Они возмутятся? — предположил Юрий.

— Им нечем возмущаться. У них остались только инстинкты, беспрекословное подчинение массы, и целесообразность действий, служащих на благо этого замкнутого построения — которое, между прочим, должно быть вам обоим хорошо

известно. Вам приходилось когда нибудь наблюдать муравейник, знакомы с жизнью муравьев? Вы знаете, что у них инженеры строят мосты и дороги, солдаты ведут войны и несут охрану, рабочие строят и убирают, а кормильцы кормят всех, кто исполняет свои обязанности, но самостоятельно не имеет возможности питаться. Вы знаете, что среди нескольких сот или тысяч видов муравьев на земле есть садовники и огородники, скотоводы, доящие своих коров — тлей, и есть даже особые насекомые, которых они держат, чтобы те производили одурманивающие соки, и иногда целый муравьиный народ предается этому пьянству — и погибает. А вы знаете также, что никакими инстинктами только нельзя объяснить этого феноменального явления; жизни существ, повинующихся каждой в отдельности совершенно логической мысли, потому что это — идеальное воплощение коммунальной общины. А вы знаете также, что в то время как на земле менялись и климаты, и населяющие ее существа, муравьи продолжали оставаться такими же, как во времена ихтиозавров? Вы когда нибудь задумывались над этим? Вряд ли. Теперь, когда вы увидели, как это началось — вам стало страшно. А когда вы ребенком разрывали муравейник, то не думали, что это — результат древнейшего эксперимента — воплощение коммуны в чистом виде...

— Но пчелы...

— Пчелы — женская разновидность, женское начало, а муравьи — м у ж с к о е. Как одни, так и другие бесполые, исключая матки и нескольких

самцов. Но характер сказывается: муравьи вечно воюют между собой, пчелы только убивают провинившихся. Муравьи несут полицейскую службу в лесу, уничтожая вредителей, пчелы — собирая пыльцу с цветов, способствуют их оплодотворению, продолжению жизни, вносят свою долю в извечную красоту и гармонию природы. Пчелиный мед — неиссякаемое целебное средство, в нем залог жизни. Даже воск всегда употреблялся для возжигания свечей и бальзамирования мертвых — служения Богу и вечности . . .

— Я не умею высказать, но вы не обидитесь, если спрошу прямо: а почему Бог допускает это? Не мед, конечно, а эксперимент, коммунизм?

— По тому же, наверное, по чему я не могу употребить во зло моего луча смерти. Не забывайте, что мы созданы по образу и подобию, но нам надо пройти длинный путь, прежде чем мы действительно уподобимся замыслу. Вы вольны отрубить себе палец, искалечить себя? Также вольны поддаться и силам зла, порабощающим вас. Только преодолев их, вы идете дальше. А если остановитесь — то рано или поздно попадете в круг, из которого уже трудно выбраться. Как те муравьи, которых вы видели на экране. Поищите в лесу — найдете их в конечном виде тоже. Конечно, ученый и майор давно уже выкинуты. Они сделали свое дело, а все ненужное уничтожается. Только дело — живет.

— Я не совсем понимаю — возразил Юрий. — Сперва мне вообще в голову не приходило, что мир может быть иным, потом стал задумываться. Вот

когда попал на Запад, посмотрел, как другие люди живут — без забот партии и правительства, и притом лучше. Не только костюмы, и вообще все можно купить, и заработной платы хватает. Лучше и потому, что нет страха, и можно делать что хочешь. Однако, не совсем: эксплоатация человека-человеком, как у нас говорилось, здорово ограничена. У каждого есть свое право, и забастовки тоже делаются не зря, никто их не подавляет, а в конце концов добиваются улучшения. Конечно, не все одинаково живут, но уравниловки, насколько я понимаю, не должно быть вообще, вот и Марина Павловна говорила, что и деревья по разному растут, так уж люди и подавно. Но я читал Маркса, поскольку требовалось, и скажу, что настоящего марксизма теперь в капиталистическом мире пожалуй побольше оказалось, чем в Советском Союзе. Но ведь раньше этого не было? Тогда он восьмичасовый день требовал установить, и другое. Теперь его уже устанавливать не надо, уже и по два дня в неделю не работают. Так как же это получается? Нужен был, значит, Маркс и все остальные революционеры, чтобы заставить дойти до этого?

— Вам никогда не приходило в голову, между прочим — медленно сказал граф, обращаясь не к нему, а к Марине, — что между Моисеем, Иисусом Христом, Марксом и Эйнштейном существует некая связь?

— Нет, — о, Господи . . .

— А вы подумайте. Все они вышли из одного народа — но это так, только заметка на полях . . .

А связующую линию провести нетрудно. Десять заповедей Моисея были кратчайшей формулировкой всех основных законов, но и только законов: повинуйся, чти и не твори зла. Говоря современным языком — программа-минимум. Правда, эти же заповеди в той или иной форме существовали и раньше, и во времена того же Моисея, с некоторыми изменениями, у других народов. Божеский закон один, а человечество разбросано на отдельные племена. Но до известной эры так ярко и беспрекословно они выражены именно Моисеем — через его посредство. Только одного не было в этих законах, самого высшего: любви. Той любви, которая прощает, понимает и является божественной милостью, выше человеческого понимания. Законы может и должен исполнять каждый, их можно требовать. Любви требовать нельзя. Она дается, как милость. Не забудьте также, что Моисей поднялся на гору Синайскую в страшном гневе на свой народ, предавшийся языческой оргии и упадку, и поправший все человеческое. Его заповеди были уздой, наложенной справедливой, но суровой рукой. Христос пришел, когда Его не ожидали. Он подтвердил заповеди Моисея — других законов Он и не дал вовсе. Но не человеческим, а божественным законом была любовь, милосердие и сострадание, которое Он принес.

— И это была программа-максимум.

— Да, оказалась не по силам, для большинства человечества. Вместо того, чтобы вникать в смысл евангельских притчей, в которых выражены величайшие откровения — стали спорить о разделе-

нии церквей, о месте первосвященника — и делить ризы. Веру обратили в религии, в обрядность, в мертвую букву, низвели небесное на землю. Проповедь милосерднейшей любви вызвала войны, преследования и пытки, длившиеся сотни — почти две тысячи лет. И смысл чем дольше, тем больше стал ускользать от понимания. Многие, слишком многие стали видеть только мертвую букву, вместо живой воды, — и либо креститься машинально, либо отрицать, не только обряд, но и Бога вообще.

— Нам тоже говорили, что все это сказки, а современная наука . . .

— Современная наука, Юрий, может исследовать и разъяснять многое. Вот дерево, хотя бы. Наука объясняет вещества, из которых оно состоит, функции корней и листьев, свойства, химическое и физическое строение, невидимое для глаза. Но создать дерева наука не может. Вам говорили, что сотворение мира в семь дней и прочее — это сказка. И вы считали, конечно, что семь дней — это смешной срок, раз геологи считают миллионами лет. Но как считал Творец Свои дни — это вам не объясняют геологи, хотя известно уже теперь, что время — понятие относительное. В одну секунду сна человек может пережить годы — и где же таким жалким существам мерять время высшим мерилом!

— Хорошо, но Маркс . . .

— Нельзя сравнивать, хотите сказать? Конечно, нет. Я говорю не о сравнении, а о связующей линии. Марксизм — религия атеизма, стремящаяся к установлению нудной уравниловки бедного ма-

териалистического рая, взамен того, который маячил перед ослепленным человечеством, но не был им достигнут. Уничтожение вместо сострадания, ненависть вместо любви, выхолощенный материализм вместо идеалов, и тот же фанатизм, мертвая буква и борьба за место первосвященника — ставшего теперь диктатором в полном смысле слова. Мир, не хотевший понять открытия ему тайн божественного закона, был ослеплен законом зла. Сперва — и многое — казалось справедливым. В то время — это началось перед французской революцией, впервые провозгласившей божеством Разум — вместе с идеей о равенстве и братстве. Прекрасная идея, безусловно, но она была уже выражена в Евангелии в настоящем ее значении, и не претворена в жизнь. А после расцвета культуры, только что пережитого с открытием древних богов, люди свернули на путь цивилизации, а вместе с ней пришла техника...

— Но вы сами пользуетесь аппаратами!

— Вы знаете, Юрий, что в природе существуют основные законы? Назовите мне один из самых главных.

— Закон равновесия, — подсказала Марина, понявшая его мысль.

— Совершенно верно. Техника должна служить человеку, но не смеет становиться самодовлеющей и загромождать его жизнь. А главное — техника урезывает способности, заложенные в человеке, возможности развития их. Главное в жизни — это простота, внутри и вовне. Чистая, умная, радостная простота. А ваша техника строится в

большей части на продуктах разложения — разлагает людей и физически, и духовно, замыкается в заколдованный круг.

— Вот тут и вступает в силу второй главный закон всего: Мера. Есть, но не объедаться.

— Золотая середина?

— Не середина, а золотая основа: поднимайтесь выше, сколько можете, но не спускайтесь вниз. Вы думаете, что заклеймили золотую середину, как духовное мещанство, а на самом деле не замечаете, что сделано людьми, старающимися вбить другим в голову, что это их собственные преступления всяких законов оправдываются якобы их свободной волей и стремлением к чему то высшему. Но они то сами тянут вниз, так или иначе. С тех пор как человек встал на две ноги — он должен стремиться только выше! Прежде, чем вы начнете сравнивать соху с трактором, посмотрите на ваш заколдованный круг — в любой области. Вот вы — женщина. Возьмите мелочь — ваши чулки, например. Ваша мать носила чулки из хлопка, когда ей было холодно, из шерсти, по праздничным случаям — из шелка. Такими же были платья, вся одежда. Так называемый простой народ имел во всех странах свой простой или праздничный костюм, считавшийся национальным, приспособленным к климату и вкусам. Но высшие слои общества щеголяли и вводили моды. Низы завидовали. Теперь уравнение достигнуто: вы носите такие же тонкие чулки и такие же моды, как ваша служанка. Эти ткани непрочны, постоянно меняется покрой , вы не успеваете их сносить, и

должны выбрасывать. Во многих семьях девушки идут работать в контору, только для того, чтобы покупать себе платья. Одежда создала громадную промышленность, построены фабрики, заняты сотни тысяч, миллионы людей: рабочие, химики, художники, механики, инженеры, — не счесть всех профессий от скотовода до продавщицы. А результат? Растут города, в которых люди живут неестественной жизнью: вырубаются леса, идущие на целлулозу; природа искажается; естественных продуктов становится все меньше, а искусственные отравляют воздух, которым вы дышите, тело, которому они якобы служат, ум, забитый ничтожными заботами. И фабрики не могут больше остановиться, это заколдованный круг. Они должны навязывать вам все время новое и новое, потому что им иначе нечем будет платить рабочим, они должны конкурировать и делать дешевле, и снова придумываются новые машины, удешевляется производство, рабочих рук некуда девать — придумывается новое для освободившихся сил — и так длилось сотни лет, разростаясь все шире и шире — пока не произошла та катастрофа, которую мы видели. А мы говорили только о чулках и платьях: пустяки, неправда ли? Махатма Ганди не даром говорил о прялке ,над которой издевался весь мир, как над его козой. Издевались над многими учителями мудрости и добра. Но вот никто еще не смеялся над Марксом. Злу служат сознательно немногие,большинство не понимает, кому они служат. Но над ним не смеются — вы заметили? Это инстинктивный страх.

— Но ведь помимо духовного, есть и материальный прогресс...

— А кто мешает поколениям накапливать эти материальные блага? Войны? Их не должно быть. Дайте людям уверенность не в завтрашнем дне, а в завтрашнем дне их внуков.

— Но для этого надо переделать всех людей!

— В этом и заключается прогресс, но без диктатуры над миром, которую стал осуществлять коммунизм, — пока не произошел общий взрыв. В маленьких странах, которые не вели войн, жители не могли пожаловаться на бедность.

— Если не пользоваться машинами, лишь ручным трудом...

— То люди будут жить дольше, чувствовать себя лучше, и у них будет возможность, которая была отнята почти у всех — возможность созидания, собственного творчества. Не даром сказано: по подобию... возьмем любую вещь, стол или стул. Мастер учит ученика не только приемам работы, но и терпению, вникванию в природу вещей, их свойствам, качествам, форме, цвету — да и мало ли чему. Даже самый незначительный мастер вкладывает в любую вещь часть своих мыслей хотя бы, а если это хоть в какой то мере художественное творчество, — то часть своей души, чувства, восприятие жизни. Гончар или мебельщик, ткач или скрипичный мастер, — художественное или ремесленное творчество, но это созидание, ежедневное проявление человека в жизни, — печет ли он хлеб, или сеет его. А что делает рабочий на фабрике, кроме механической притуп-

ляющей работы, часто сознавая даже ее бесцельность или бессмысленность, и что выходит из его рук? Стандартная, бездушная вещь, с которой быстро слетает поверхностная лакировка, и через несколько часов или лет она обречена на слом, на мусор.

— Значит, соха все таки лучше плуга?

— Соблюдайте меру. Нужен и плуг, и многое другое. Я покажу вам вскоре те аппараты, которыми я пользуюсь. В них нет ничего сверхестественного. Одни — только улучшенный вид, того, что было и у вас, другие тоже могли быть изобретены. Но я многое делаю и сам, хотя мог бы получить это без всякого труда — только это не было бы тогда моим созданием.

— Однако, мне кажется, что мы уклонились от Маркса.

— Что же с вами делать! Вы хотите, чтобы в нескольких словах я объяснил вам все, а знаете так мало. Вот здесь, в этой библиотеке, собрано все, что было написано действительно выдающимися людьми — от древности до последних дней.

— И по русски?

— И по русски тоже. Читайте сперва на родном языке, потом я научу вас, как читать на чужих. Учить их в отдельности нельзя, да и не нужно.

— Можно читать, как мысли?

— Разумеется. Только развить тот совершеннейший аппарат, которым является наш мозг. Но читать книги я научу вас раньше, чем мысли . . .

— Почему?

— Потому, что теперь мы доберемся до Эйнштейна — чтобы закончить разговор. Вы, конечно, скажете, что над расщеплением атома работало одновременно и даже раньше его, много ученых. Но теория Эйнштейна оказалась революционной, и в атомной бомбе он так же повинен, как Маркс в Советском Союзе...

— Но мирное применение даст возможность...

— Скажем — дало бы. Никакие мирные достижения при помощи атомной энергии не оправдывают той картины, которую вы видели , по телевизору, неправда ли? Динамитом хотели хоть сперва только скалы взрывать, и только потом изобретатель схватился за голову, когда увидел, на что его употребили. Но атом был расщеплен сразу же для первой бомбы. Двум правителям — одному, стремящемуся овладеть миром для насаждения марксистского безбожия, и другому — сопротивляющемуся этому, — двум людям, со всеми их недостатками, невежеством, страстями, была дана власть пользоваться силой, к которой человек должен подходить только с чистыми руками и помыслами, с благоговением перед открывшейся ему тайной природы... Если он вообще еще смеет к ней подойти! Но вот в этом то «все позволено» и заключается связующая нить между Марксом и Эйнштейном. Связь, приведшая к логическому завершению — уничтожению всего вообще. Моисей и Христос — два откровения божеских законов, — и эти — два откровения зла. Плюс и минус.

— А Сталин?

— Это прислужник, милый юноша, исполняющая власть.

— Вы говорили о мысли . . .

— Именно. Вот вы увлекались сейчас способностью читать мысли, как, простите, новой игрушкой. Это свойственно и молодости, и людям вообще, редко задумывающимся о последствиях. Вспомните, что некоторые писатели пророчески предвидели будущее и представляли тот ужас, в который должен вылиться коммунизм, когда он не только завладеет умами, но и разрушит их. Сейчас вы видели результат — муравейник. Но ведь в способности читать мысли и управлять ими кроется страшная сила, дающая громадную власть.

— И нельзя защититься от этого, устроить непроницаемую завесу?

— Можно. Как это по человечески у вас вырвалось: прежде всего — защита. Бедные, какой у вас перед всем прежде всего страх! Но вот, завеса. К чему это приведет? Я научу вас читать мысли вам подобных, но это не значит, что вы сможете прочесть мои — ибо я стою выше. Предположим, что кто нибудь поднимется на равную мне ступень, или даже выше, — и свернет на другой путь. Следовательно, у него будет в руках власть, которой он может злоупотребить. Поэтому прежде, чем вы получите в руки это оружие, я, ваш учитель, должен быть абсолютно уверен в том, что вы никогда не употребите его во зло . . .

— А когда мы чувствуем симпатию или антипатию к человеку, то значит, чувствуем его ауру?

— Да, Марина. За последнее время даже ваши ученые стали заниматься изучением электрических полей человеческого организма. Человек с интуицией, т. е. зачатком второго зрения, чувствует сразу инстинктивное отталкивание от болезней зла и темноты в другом. Наверно, у каждого из вас бывали в жизни встречи: с одним человеком легко, а другой давит на вас, вы не знаете, что с ним делать, о чем говорить; когда он входит в комнату, все покрывается темным налетом, вас гнетет и давит, вы облегченно вздыхаете, когда он уходит, хотя это может быть близкий вам человек, вам его жаль. Я говорю только о болезни души. У прокаженного могут быть светлые глаза, запах больного тела вам неприятен, но вы можете любить человека, прикованного к постели. Но вас давит тьма, окутывающая душу другого, она калечит его и делает вашим врагом. Когда же вы ясно видите ауру, и уже не только смутно чувствуете производимый гнет, а видите и его причины, то сможете отразить зло или помочь другому, не могущему справиться самому, с окружающим его темным облаком.

— Но ведь это облако не возникает само по себе? Человек создает его сам?

— Прежде всего — своей слабостью, и культивированием ее. Неуменье справиться с окружающим миром — отсюда отчаяние, злость, безнадежность, уныние, ненависть, презрение, отвращение к людям. Эти чувства развиваются уже в ребенке, он начинает сторониться, чувствует себя непонятым, обойденным, впоследствии — неудачником.

Облако сгущается в комок, мешает ему. Действительно, если он берется за что нибудь, сцепив зубы — у него ничего не выходит, и он еще больше озлобляется. Несколько таких попыток — и он уходит в себя, в вынужденное одиночество, начинает ненавидеть свет. К нему трудно подойти, пробить темную завесу, показать ему солнце, вызвать радость. Он отталкивается от других — и все отталкиваются от него. От этого страдает и нервная система, возникают болезни. Иногда омрачается разум — но тогда дух уже в оцепенении. Полное безумие редко; частичное же затмение разума — на каждом шагу . . .

— Но если Бог справедлив . . .

— Именно, потому, что Он справедлив. Разве человеку не дано все для развития гармонии, красоты, счастья, радости? Не даны силы, возможности, не заложена в него божественная искра? Дано все. Но поколения за поколением упрямо, несмотря на все призывы просветленных мудрецов, даже ученых — не говоря уже о пророках, — поколение за поколением, тысячи лет подряд упорно сворачивают с правильного пути и идут по тому, который даже не кажется им лучше зачастую — а просто легче. Легче, разумеется, только в настоящий момент, но кто задумывается над завтрашним днем? Над тем, что может повредить соседу? Два примера только: коммунизм и атом. Сколько людей взывало об этом зле? Нежелание думать заразило людей гораздо раньше и глубже, чем радиоактивность — она была только следствием. К чему же привело — вы видели.

— Но если бы показать эту картину раньше . . .

— То три четверти всего человечества сказало бы: это случится не со мной, я до этого не доживу, — а после меня хоть потоп. И не подумали бы даже о собственных детях. Или противопоставили бы такую удобную, такую ложно скромную, губительную теорию «маленького человека». «Я ничего не могу поделать против сильных мира сего, я маленький человек . . .»

— А другие, хоть та четвертая четверть?

— Она разбросана, рассеяна. Отдельные люди — тоже без второго зрения, только с зачатками его — знающие разницу между добром и злом, тонут в общем стаде, и частично тоже ослеплены. Как не быть слепым, когда вы не видите, что творится в душе человека, приказывающего вам, навязывающего свою волю, свой закон? Слова могут быть прекрасны. Но что за человек стал вашим правителем, куда он вас ведет? Вот если вы научитесь различать, выбирать достойнейших, обезвреживать в то же время темных, бороться с ними, поборов свои слабости . . .

— А если знание обращается во вред, подчиняет . . ?

— Нет, если стоите на правильном пути. Я знаю, Марина, что вы хотите сказать: искушение зла, темные силы, Мефистофель и так далее. Да, они есть, но их сила — только в вашей слабости, и как только вы начнете бороться — вам обеспечена помощь, поддержка, благословляющая рука. Можете обращаться с молитвой на любом языке, любыми словами и без слов. Важно только одно,

что вы обращаетесь к Свету, что вы просите помочь вам подняться выше, а не удовлетворить ваши страсти и личные выгоды — и что вы не только просите, находясь в полном отчаянии, а сами делаете усилие, чтобы подняться. В этой просьбе отказа быть не может. Но если в чекистском застенке вы умоляете палача, чтобы он сжалился над вами, а когда он продолжает вас терзать, кричите, что Бога нет, раз Он допускает такой ужас, — то Бог ли учил вас коммунизму, страшной темной волне, захлестнувшей мир, которой вы сами, да, вы, «маленький человек», открывали все шлюзы один за другим? Именно тем, что вы, и вы, и вы тоже, ничего не делали против тьмы, ничего не делали для Света. И попали в тьму не потому, что вас наказывает жестокая, мстящая Немезида, а потому, что причина вызывает следствие. За последние пятьдесят лет погибло от застенков, созданных человеком, от казней, голода, войн, может быть, сто миллионов человек. Но родились новые. И они снова пошли по тому же пути, ничему не научившись от оставшихся в живых, пошли навстречу новым мучениям, отмахиваясь от всех, предупреждавших их. Нельзя обвинять Бога в творении человеческих рук! Я не указываю вам социального устройства — можете придумать сами ту систему, которая вам кажется лучше. Но исходите только из одного: из справедливости Божеской, а не человеческой, и вы увидите, сколько ненужной, лишней шелухи сразу же развеется ветром, и как просто, как невыразимо просто, свободно и лучше, можно и нужно жить. Но на се-

годня довольно, наконец. Вы еще не можете сразу привыкнуть к новому положению, к тому, что все, чему вы учились, к чему привыкли — рассеялось, как призрак, и вы очутились в совсем ином мире... Хорошо, что вы носите сапфиры, Марина, ваш выбор был правилен. Они дадут вам мудрость, спокойствие и силу...

Спокойствие и сила оказались очень нужны Марине на следующий день, когда над замком блеснул самолет, приземлился на лужайке, и Димитрий Петрович с профессором вышли из него, ведя под руки Дару. Дара бросилась к Марине, судорожно ухватилась за нее и разразилась громким плачем.

Мужчины не плакали. Они молча передали самолет появившемуся слуге и в изнеможении опустились на скамью. Голубое небо над головой, солнце, цветы, трава, знакомые лица . . .

— Нет, я не могу этого охватить, — хрипло сказал профессор, оглядываясь кругом. — Марина . . . Юрий . . . если бы вы знали!!!

— Мы знаем, — сказала Марина, крепко пожимая руку Димитрию. — Мы с графом все время следили за вами по телевизору. Все . . . и этот ужас . . . и муравейник . . . я даже объясню вам то, что вы еще не понимаете! Вам просто нечего рассказывать. И я совсем не беспокоилась, когда увидела, что Димитрий . . . Димитрий Петрович так ловко старается посадить всех в самолет, чтобы подняться . . . я знала, что вы не погибнете, должны вернуться. Только когда граф поднял руку, и с его пальцев блеснул этот луч, поваливший горилл на землю . . .

— Так это он, значит . . .

— А вы сомневались?

— Не упрекайте, Марина Павловна. Ну хорошо, если вы следили . . . но вы представляете себе что мы пережили, передумали, перечувствовали?

Профессор вскочил и потряс кулаками.

— Я схожу с ума, я не хочу больше жить, не смею, слышите! Все, — буквально все . . . Ничего нет больше, ни-че-го, нашего мира нет, нашей жизни нет, мира нет, Марина, поймите это! И то, что мы здесь спаслись, это дьявольская насмешка, а не благодеяние, это издевательство, потому что не может человек переносить такое, не смеет переносить, когда все кругом . . .

Он затрясся и упал на скамейку, закрывая лицо руками. Марина взглянула на Димитрия Петровича, ища ободрения. Ей стало немного стыд-

но. Назвать ее состояние сном было невозможно, бесчувственностью она тоже никогда не отличалась. Но она участливо обнимала Дару, тихо всхлипывавшую теперь у нее на плече, как ребенка, жалела профессора, да, но вместе с тем это было какое то странное, и уже знакомое чувство отрешенности от всего.

— После Октябрьской революции, профессор — спокойно сказала она — вы тоже покинули целый мир, который рушился безвозвратно, растворился в пространстве, как только вы перешагнули через порог своего дома, своей родины. Вся ваша жизнь повернулась по иному, и вам пришлось переоценить многие ценности. При этом наверно оказалось, что то, на что вы раньше не обращали, быть может, большого внимания, в действительности оказалось самым ценным, и наоборот. Это странное чувство, я знаю. Как будто стоишь на палубе корабля, и вот вздрогнула земля под ногами, и как нож, легла рядом рассекающаяся полоска воды. Все шире, неудержимо — невозможно остановить берег, который отходит все дальше и дальше — навсегда. А ведь многие пережили это и второй раз в жизни — после Второй мировой войны. Вот как мы теперь — думали тогда в пещере, что отрезаны от жизни только обломком скалы, а оказывается — совсем, и позади нас ничего нет . . .

— Я поражаюсь вашему спокойствию, я нахожу его прямо возмутительным!

— Мне тоже больно не меньше вашего. Но я сознательно поддаюсь спокойствию этой долины. Может быть помните, в одном из сумасшедших

романов Густава Мейринка — не то Голем, не то, кажется, другая книга . . . У человека, пораженного страшным горем, горели на столе свечи. И вошедший к нему мудрец взял и переставил эти свечи, так, чтобы он думал сердцем и чувствовал разумом. Вокруг несчастного ничего не переменилось, но сам он стал другим. Так, по моему, и мы должны . . . Не плачьте, Дара. Пойдемте.

Дара покорно пошла за ней — сжавшийся комочек человеческого несчастья — потрясенная, напуганная — и не разбирающаяся ни в чем.

— Я думаю, что и вам не мешало бы прежде всего отдохнуть, Димитрий Петрович, — сказал Юрий. — Да и вам, профессор.

Профессор с трудом поднял голову, но в глазах его блестел сухой, злой огонь.

— Не думайте, что вы победили! Я не верю и не могу поверить, но вы уже оба на стороне этого . . . этого . . .

Он потряс кулаками в сторону замка и свалился на скамейку, вцепившись в нее, как будто его стаскивали силой. Димитрий покачал головой, но пошел к замку. Марина хотела остановиться, но увидев, что Юрий уселся рядом с профессором, внимательно и серьезно глядя на него, кивнула и пошла дальше.

Сияющее свежее весеннее утро: привычное, знакомое, таких утр за всю жизнь было много, но на них не всегда обращалось внимание. Свеже вымытое, по весеннему голубое небо, легкий запах оттаявшей, согретой солнцем земли, первых клейких листочков на деревьях, еще по весеннему четкий, но уже шумящий силуэт деревьев, остренькая свежая трава, и что то синеющее, желтеющее в ней, как присевшие на землю бабочки. И воздух, который чувствуешь, когда дышишь, и радость особая, весенняя, тоже знакомая, тоже всегда могущая быть и бывшая и у них, и раньше, у дру-

гих, которые тоже жили, писали, говорили, пели песню о ней, и сотню, и тысячу лет тому назад. Сейчас они снова видели эту весну — верили и боялись верить.

После всего, что было? После атомного ада, человеческого муравейника, пауков — есть весна? На земле — или в этой долине только? Может быть, они опять долго спали? А сейчас — не сон?

Но вот белая каменная баллюстрада террасы, на которую они вышли, нагрета солнцем так, что чувствуется, как луч скользит по коже, и не слепит, а нежно греет глаза, а дальше дорожки, и потом просто трава, роща, лес — и кучка их, людей, не верящих, что они живут.

— Мне уже надоело говорить, что я схожу с ума, — выпалил вдруг профессор первые слова за это утро, что они промолчали вместе, и они разорвали воздух, неприятно и громко. — Мне надоело говорить, что я не могу понять, что со мной кончено, и я сам не знаю, что я такое. И я боюсь. . .

— Но что это весна, я вижу, — тихо и убежденно отозвалась Марина. — И я вижу, что по полю идет сеятель.

Роща кончилась. Широкими темными пластами лежали неглубокие борозды и пахли родным и забытым запахом земли. По полю скакала, помахивая крыльями, большая черная птица. Галка? Грач? Клевала, озираясь блестящим глазом, подмигивая озорно и весело.

Хозяин замка шел чуть сгибаясь, и широко выбрасывая полукругом руку. Он был одет в какую то серенькую рясу, с кошелкой зерна у пояса,

и как будто вырастал, прислушиваясь к чему то. Не граф Сен-Жермен, в костюме французского маркиза, не маг — ученый мудрец, а просто хозяин земли, вот этого поля, на котором вырастает хлеб. Так же важно шел за ним слуга, волочивший что то вроде грабель, боронивших рассыпанные зерна.

— Опрощение по Льву Толстому . . .

Это профессор, конечно, презрительно кривит губы.

— Очень нужен ему хлеб! Сделать лишний каравай хоть из камня с его колдовством ничего не значит. Или это для моциона на свежем воздухе?

Но его не слышат. Марине кажется, что она стала птицей, летит, большая, совсем низко, подставляя крыло под полную горсть зерен, и разбрасывает их, бережно стряхивая с крыльев, как благословение . . .

Димитрий и Юрий тоже следят за каждым зерном. Нет, это не сон, это жизнь, простая и мудрая, вечная, как весна, как . . .

— Вы правы. — Граф останавливается около них, пройдя последнюю борозду, обдает их светлой улыбкой, опрокидывая кошелку с зернами. — Я могу сделать хлеб из камня, как думает профессор, или химическим путем, вроде таблетки в ваших автоматах — беспомощная и жалкая стерильность, фабричная машина. Это не кусок хлеба из домашней печки, не зерно, проросшее не на каменистой почве, а на благодарной за заботу земле. Вас учили презирать этот труд, сознательно или бессознательно привлекать крестьян в города, уро-

довать их. Или самим снижаться до вола, как будто он становится мудрецом от ярма. И все таки вы смутно чувствовали, что сила идет от земли. Все таки находились люди, которые любили землю. Не Толстой, учивший об опрощении. Земля не выше искусства. Земля и искусство — вместе. Одно дает силу другому. Помните те деревни, которые у вас были? А теперь посмотрите на ту жизнь, которая должна быть...

Он указал им на рощу. Долина раздвинулась как то, и они пошли по прекрасным тенистым дорогам, выложенным широкими плитами. Мимо садов, полей, — и знакомой и совсем новой картины. Села, как центр звезды, с разбегающимися усадьбами. Крестьяне? Помещики? Люди одеты просто и красиво. И старые, и новые дома, но все с большими окнами, террасами, в цветах. И сколько лесов и лошадей! Но и машины, бесшумные, бездымные маленькие моторы двигались по дорогам, и на полях были видны небольшие машины, облегчавшие труд.

Они проходили, заглядывая в окна домов: везде висели картины, телефон стоял рядом с прялкой и ткацким станком в углу библиотеки. Кто сидел за книгой, кто несся на лошади, кто сажал, кто собирал — но при первом ударе колокола в церкви все останавливались, бросали работу и игры и наклоняли голову в молитве.

Дороги неслись мимо, поля менялись: здесь собирали жатву, здесь сеяли, на снежной равнине неслись сани, на залитых водою полях зеленел рис. Менялись страны, небо, одежда людей, архи-

тектура домов. Но жизнь была неизменной: простая, красивая, на земле и от земли.

Где же города? Вот они: к ним несутся поезда, как трамваи, без шума, без дыма. Города невелики, если бы не сады и парки, тенистые бульвары между театрами, школами, складами. Чувствуется богатство, но нет рекламы. В гаванях стоят громадные парусники — но паруса разворачиваются не вручную. А где фабрики? В горах, у водопадов, над ущельями, куда сваливаются отбросы. Отбросов мало, работа идет бесшумно и чисто, без угля, без нефти. Электричество?

— Атмосферное электричество, — слышится голос Сен-Жермена. — И солнечная энергия...

Поражает не только тишина, чистота покой. Поражает мысль в глазах всех этих людей, улыбка на губах, достоинство в осанке, воля в движении. Они учатся, упорно уходя в книги, познавая и достигая. Они кланяются с уважением друг другу. Они гордятся своим трудом и украшают свою жизнь на каждом шагу, не убивая времени пустотой, а ценя его. Они выше, сильнее, красивее, здоровее и счастливее тех, кто вот сейчас незаметно смотрит на них, удивляясь, не веря, не понимая...

Картины сливаются в вихрь, взвивающийся столб, застывающий на миг, и медленно распадающийся в шелест листьев прежней рощи.

— Магически вызванная страна утопии — кривится профессор.

— Земля будущего, — спокойно замечает граф Сен-Жермен.

— Как же можно создать ту жизнь, которую вы нам показали? — серьезно спрашивает Димитрий.

— Рай на земле? — спрашивает профессор. — Одна красивость и благорастворение воздухов? Ваша магическая картинка надумана. В самой природе жестокость, несправедливость на каждом шагу. Сильные поедают слабых, все пускаются на хитрости. А кроме того, мы знаем, что при очень мирной, обеспеченной мизни люди жиреют физически и духовно, становятся мещанами...

— В обычном человеческом обществе, — да, профессор. Вы только путаете облегчение борьбы за существование с борьбой духа. Эти люди, которых вы только что видели, создали лучшие условия в своей жизни только потому, что обратили главное внимание на духовную жизнь. Они никогда не смогут стать мещанами, потому что у них прежде всего духовные стремления. А что касается жестокой борьбы и несправедливости в нисшей природе, которые так мешают людям, и заставляют их сомневаться в разумности мироздания... не чувствуете ли вы, что это по меньшей мере достаточно смешно? Да, действительно, тигр не может питаться травой, и почему наряду со всеядными и травоядными животными имеются и хищные, человеку непонятно. Но почему больше всего вас интересует именно этот, неразрешимый вашим разумом вопрос, а не тот, который, казалось бы, должен был затрагивать вас ближе? Ведь даже хищные животные не убивают для еды себе подобных? Сильное растение заглушает слабых, доступ-

ными ему средствами стремясь к свету. А человек, венец творения, пользуется всеми возможными способами только для того, чтобы всячески насаждать, увеличивать зло и тьму, и делает это не из инстинкта самосохранения, а совершенно сознательно во вред себе и другим, чаще всего для собственного удовольствия. То, что вы называете утопией и райской жизнью — ни то, ни другое. Для осуществления ее у человека имеются все данные, заложенные в его душе. Вы довольно пренебрежительно называете раем ту жизнь, которая посвящена свету, только и всего. А она отнюдь не исключает ни труда, ни подчас громадной борьбы, неудач, забот и горя. В ней много трудностей, больше, чем вы думаете — нет только доминирующей, направляющей силы зла — того, что привело в конце концов к вашему атомному взрыву. Помните, что вы видели после этого на земле? Вот это, действительно, та антиутопия, которой не должно было осуществиться — а именно она и оказалась реальностью.

Профессор молчал, уставившись в одну точку.

— У меня серьезный вопрос, — сказал Димитрий.

— Говорите.

— Но вы уже знаете, в чем дело? Так именно об этом. Почему знание тех сил природы, изучение которых вы называете единственно правильным путем, было настолько скрыто ото всех людей и даже больше: считалось предосудительным? Я, например, инженер, но конечно знаю кое что и об астрономии и знаю, что существуют многие дру-

гие области — ну хоть ихтиология, в которой никто ничего не понимает, потому что кто же будет интересоваться рыбами. Но ее не считают предосудительной. А в то же время оккультизм: что это? Столоверчение, знахари, предсказатели будущего на картах или кофейной гуще, факиры — в лучшем случае таинственные восточные мудрецы, о которых рассказывают восторженные путешественники, но которых никто не видел. И эти же мудрецы, ламы, или браманы живут, заметьте, где нибудь среди неприступных гор или джунглей, и вокруг них в землянках или хижинах ютятся в примитивнейших условиях примитивнейшие люди, только что не едят друг друга . . . а тут же за стеной какого нибудь монастыря, находится якобы кладезь невероятной мудрости и знания потустороннего мира. И это не шарлатаны. Те, впрочем, могут наделать не меньше зла . . . но недоверие нормальных людей понятно: как отличить это шарлатанство от настоящего? И почему это настоящее за такими семью печатями?

Профессор поднял голову и удовлетворенно затряс ею. Пауки добили его — иначе он сказал бы то же, и еще резче.

— Вы понимаете меня, — продолжал Димитрий, — я не хочу сказать ничего обидного. Я внимательно слушаю вас и внимательно смотрю. Я инженер, знаю точные науки. Думаю, что меня не легко было бы провести фокусами. Но я уже окончательно убедился, что вы человек, обладающий не только таинственными познаниями и неизвестной нам силой, но и значительно превосхо-

дите меня в таких областях, которые я сам знаю. Освещение замка, например — это техническое устройство. Однако, я не должен прикасаться к кнопкам, для него не требуется проводов. Система отопления тоже в этом роде. Аппарат, на котором мы летали — чудо техники. Я с трудом могу себе представить, каким образом ваше астральное тело — видите, я уже ознакомился с этим! — могло появиться перед муравейником, каким образом вы направили этот луч, хлеставший горилл, — но рычаги я понимаю, и это уже не фокус, извините! Такие вот чудеса, из потустороннего мира, и из самого настоящего земного я вижу и здесь на каждом шагу с самого начала. Значит, не все только таинственная духовная сила, но и знание. Почему же то, что собрано и создано здесь вами, находится в этой недоступной долине, куда вы позволили попасть только нашей маленькой группе, и в тот именно момент, когда мир катился уже в пропасть, был накануне гибели? Неужели вы думаете, что если бы вы учредили академию в какой нибудь мировой столице, то у вас не нашлось бы учеников? Разве вы не смогли бы стать действительным благодетелем человеческого рода, вместо того, чтобы держать эту мудрость под спудом? Вы укорили сейчас профессора, а вместе с ним и всех нас, обыкновенных, пусть и заблуждающихся людей, что мы способствовали распространению зла — создавали в какой то степени вот этих отвратительных чудовищ там, — но разве вы не допускали то же самое? Тем, что скрывали от

мира ваши знания? Мы то не знали по крайней мере, мы были слепыми!

«Повелитель мира, Ты не прав!» вспомнил Димитрий, доканчивая свою речь, и его пыл прошел.

Сен-Жермен усмехнулся.

— Разве? — тихо спросил он. — А ведь у вас есть книга, в которой написано, как однажды уже был задан этот вопрос, и ответ на него.

— А именно? — профессор подался вперед.

— Вам следовало бы знать — покачал головой граф. — «Отойди от меня, сатана!»

И повернувшись к Димитрию, добавил:

— Ответ, конечно, исчерпывающий, — но к вам он в сущности не относится. Все таки я хочу кое что объяснить вам. От искажения смысла настоящих знаний они хуже сами не становятся. Мир в кривом зеркале подносится вам ежечасно, а вы должны найти сами разницу между добром и злом. Это одно. Другое: пауки и муравьи, которых вы видели — уже не люди. Мутация генов души затронуть не может. Продолжается только бессмысленная жизнь обессмысленного тела, уродство вырождающегося организма, двигающегося вслепую животными инстинктами и теми темными силами, которые нашли теперь доступ в телесную оболочку и удовлетворяют в нем жажду жизни. Это не люди. Это судороги погибающей материи.

— Я думаю, что пора поговорить с нами серьезно, без всяких магических фокусов.

— Однако, согласитесь, что эти «фокусы» больше всего поражают ваше воображение до сих пор, и только благодаря им, вам начинает приходить в

голову, что за ними может крыться что либо другое, кроме просто моего сумасшествия.

— А что дает вам право разговаривать с нами вообще в таком покровительственом тоне? — не унимался профессор. — Вы нас, повидимому и за людей не считаете?

— За людей — безусловно. Но человека я ни в одном из вас, простите, не вижу. Это можно сравнить, чтобы вам было понятнее, ну, скажем со встречей профессора какого нибудь университета с полуголыми дикарями, мажущими кровью врагов или пленников своего идола. Конечно, это сравнение вас снова может обидеть. Но постарайтесь посмотреть с другой стороны. Чем отличается профессор от дикарей? Возьмем его, как тип так называемого интеллигентного человека. Я не говорю о том, что он знает, скажем, спектральный анализ в то время, как дикарь просто поклоняется солнцу, как Богу. Профессор не верит в богов, но и в своего Бога он не верит в сущности тоже, а если верит, постольку-поскольку. Обычаи своей религии он если и исполняет, то мало задумываясь над их смыслом, больше потому, что так принято. Божественные законы для него хороши только в книгах, а в жизни неуместны. Он спокойно преступает любые заповеди, если его обязывают к этому правительственные предписания или требования жизни, или даже по собственному неудержимому желанию. Он убивает или способствует убийству своими научными работами, спихивает с дороги своих коллег, чтобы добиться лучших материальных благ, может быть деспотом в своей семье или с

подчиненными, и развил в себе большое искусство притворяться и лгать. Если же вы посадите этого профессора в последнее изобретение вашего века — концентрационный лагерь, то после нескольких недель или месяцев пыток и голодовки он обратится в жалкое человекоподобное существо, стоящее, быть может, на более нисшей ступени, чем любой полуголый дикарь. Стоит только содрать с него оболочку внешнего воспитания — а о внутреннем заботятся меньше всего . . .

— Ну, а вы сами?

— Я проделал длинный путь. Вначале, конечно, я был таким же, как все. От того, что я начал свою жизнь несколько тысяч лет назад, в той Атлантиде, в существование которой вы и верить даже не хотите, ничего не меняется. Там были такие же люди, как и вы теперь. Они создали культуру, потом, свернув на роковом перекрестке, пошли по пути цивилизации. Катастрофа стала неизбежной, как и теперь. Но к тому времени я уже стал учеником посвященных в высшие тайны людей. А учеником я стал по чисто человеческим соображениям: я был оскорблен нанесенной мне обидой, несчастной любовью, жаждал безграничной власти, могущества. Ослепленный этой гордостью, я не стал дожидаться постепенного восхождения, и, когда силы зла подтолкнули меня на этот путь — преступил закон. Не человеческий уже, а Божеский. Я захватил сразу то место, к которому надо было придти в результате упорной работы над собой. Говоря современным языком — решил стать диктатором. И в результате . . .

— Вас свергли.

— Вот именно. И, так как это происходило, понятно, не в обычном плане, я был осужден на бессмертие . . .

Он задумался, и они долго не решались его прервать. Наконец, он сам заметил это и улыбнулся.

— О вечной жизни на земле могут мечтать только неразумные люди . . . Но жить и видеть как умирают не только люди, но и целые страны, царства, культуры, эпохи, — и как все, буквально все повторяют те же ошибки, те же грехи, те же преступления и остаются такими же, уродуя себя, землю и самый воздух даже . . . Конечно, я был сперва возмущен. Я все проделал, что может неразумное животное: пытался насильно вмешиваться в судьбу и историю, пытался покончить с собой, испытал все, что возможно, без особого различия добра и зла. Я совершил много безумств, прежде чем окончательно опомнился и пошел по нужному пути. Вот поэтому мне и хочется подвести вас к нему без того, чтобы вы впали в те же ошибки. А вы обижаетесь на сравнения . . .

— Что же мы должны делать?

— Прежде всего — учиться. Чему вас учили с детства? Содержать в чистоте свое тело, грамоте, элементарной вежливости и сдержанности внешних проявлений чувств, немного гимнастике ума, потом точным наукам, литературе . . . И в том же детстве уже вы могли заметить, что истины, высказываемые мудрецами, расходятся с жизнью, а сами мудрецы при жизни подвергались за них го-

нениям, и только после смерти их поставили на почетный, но запыленный пьедестал, и чтут не образ, а пыль веков только — естественное преклонение однодневного мотылька перед величием столетий . . . Учитесь прежде всего сосредотачивать мысль, вникать в ваши душевные движения, разбирать их. Не сдерживайте гнева, злобы и ревности, скрывая их за наружным приличием, а учитесь подавлять их внутри себя. Учитесь воздержанности и скромности, во всех своих желаниях, откажитесь от мишуры и суеты, от шума и треска . . . Население миллионного города стекается многотысячной толпой для встречи знаменитого футболиста, только для того, чтобы увидеть человека, сумевшего ловко ударить по мячу. А когда в тот же город приезжает большой философ, то для его встречи собирается несколько десятков людей, из которых не все читали его творения. Другим он неинтересен, в свободное от работы время им нужен треск и шум. Вкратце все стремления, развиваемые с детства, сводятся к одному: накопить как можно больше, народить таких же, — и умереть. Это почему-то возведено в закон. А о том, чтобы прежде всего стать человеком, познать Бога и жить по Его законам, в этой же вере воспитать детей, зачатых в любви, а не в случайном увлечении, сознательно, а не спьяна — кто думает об этом? И когда происходит очередная война, то только тогда обнажаются души, и если есть настоящее, то оно вспыхивает в душе, — и потом тускнеет. Человек, рисковавший жизнью, не задумываясь, чтобы спасти чужого, незнакомого, — по-

том, несколько лет спустя, спокойно откажет ему в просьбе накормить, не пустит на порог своего дома, если тот стоит ниже его . . .

— Да, но такова жизнь! И в природе тоже борьба . . .

— Почему же человек берет себе за пример только растения и животных? Почему вы осмеливаетесь рассуждать о качествах Бога, стоящего неизмеримо выше вас, и притом стараетесь сами копировать только обезьян? Ведь все усилия цивилизации направлены на то, чтобы сделать ваши когти острее. А где же культура, отличающая человека от зверей? Или вы считаете ею то множество несуразных мелочей, бесполезную и пустую трату времени, чем вы загромождаете свою жизнь?

— Хорошо, но вы обошли совершенно конкретный вопрос в самом начале. В ваших руках имеется большая власть. Предположим, вы могли бы переделать какую нибудь страну по своему. Предположим, хотя бы. Что бы вы сделали? Ну вот, вы выхватили нас из нашей жизни и собираетесь переучивать. А ведь вы могли бы изолировать целую страну, стать проповедником, который не только призывал бы людей, но и заставил бы их жить как надо, диктатурой духа?

— А разве дух может быть диктатурой?

— Ну, уж если на то пошло — Бог!

— Дорогой профессор, не обижайтесь, но ведь это право же рассуждение обезьяны, которая сваливает в одну кучу все, что может захватить в лапы. Можно, конечно, назвать диктатором Бога, ибо все подчинено Его законам и не может из них

выйти. Но преступать эти законы в известном плане, на нашей земле — предоставлено свободной человеческой воле по тем же законам. Учителей у человечества было достаточно; власти, как вы считаете, у них не было. По той же причине ее не дано и мне, вернее, дано сознание границ ее применения.

Сен-Жермен берет прут и чертит на земле два треугольника.

— Вот человек, — объясняет он, утыкая прут в вершину опрокинутой пирамиды. — А вот то, что скапливалось в течение веков и наваливалось на него сверху: старые счеты между народами, ненависть, страх. То, что казалось необходимым, чему его учили с детства, и что заслоняло от него весь остальной мир — и вовне, и внутри. Ложный патриотизм; ложное представление о положении в обществе; не наставники, а измученные, озлобленные учителя, которые учили тому же; отлучение от природы; смирительная рубашка городской, общественной жизни; ложь, ложь на каждом шагу; самые важные вопросы без ответа; исковерканная уродливая жизнь; вместо радости — развлечения, убивающие время; возбуждение сенсациями; не книги, а однодневки — газеты, афиши; не мышление, а радио и телевизор, не театр, а кино; не музыка, а уличная песня; не владение собой, своими мыслями и чувствами, а политическая говорильня; не сознательный труд, а бесплодная работа ради денег; не предметы искусства, а дешевка, погоня за ненужной мишурой; сознание бессмысленности, ненужности жизни в моменты просветления; —

и снова то же самое, от колыбели до могилы, вихрь втягивающий пустоты, за которой страх, мрак, неизвестность... Вспомните сами, что вас давило, подгоняло, пугало в жизни? Давит и разрастается тяжесть, калечит человека, и умирает жалкий, издерганный старик...

Он смел перевернутую пирамиду и начертил ее снова — вершиной кверху.

— Вот здесь, в основании — каждому есть место. Один человек — семья, народ. Основание можно расширять до бесконечности. Каждому находится место. А стороны, исходящие из основания, поднимаются кверху — каждый может идти к свету не сразу, но все тянутся к нему, к вершине, не давя друг друга, а сливаясь вместе, помогая подняться. Вот это — схема той жизни, которую вы видели — в «утопии», которую я вам показал.

— Ваши два треугольника — это части пентаграммы, дьявольской звезды! — вскипел вдруг профессор, и Марина отшатнулась даже от него.

— А вы еще часто ходили в церковь и считали себя глубоко верующим человеком, — улыбнулся Сен-Жермен. — Откуда у вас эта злоба, профессор? Сказать вам, отчего?

— А откуда вы берете ваше колдовство? Сказать вам, от кого?

Остальные замерли. Задавали же они себе этот вопрос не раз. Сомневались. Если есть свет, то есть и тьма. Понятия Юрия о «чертовщине» были очень смутными, но профессор несколько раз уже шептал ему на ухо страшные вещи о колдовстве, черной магии, сатанистах — может быть, и вправ-

ду..? Теперь уже все невероятное могло быть, это он знал твердо, ничего кроме невероятного, по прежним понятиям, быть не может. Почему же Дара так боится Сен-Жермена, как собака — может быть инстинкт простого, неиспорченного существа?

Но эти сомнения всплывали только как шопот, в глубине души, а вот сейчас, после сияющей утопии, перед весенним, только что засеянным полем в это чудесное утро, профессор сам казался каким то мелким бесом перед высокой, торжественной фигурой сеятеля. Да, это был страшный вопрос, его надо было задать, но было страшно!

Страшно вот перед этими синими, глубокими, все понимающими глазами, из которых лучится свет.

— Что ж... сказал тихо граф. — Если вы думаете, то не бойтесь и выговорить, чтобы вас слышали другие. Может быть и они разделят ваше мнение, принимая меня за... искусителя.

— А в чем заключается первородный грех, как не в желании стать подобными Богу? — быстро спросил профессор.

— А не в нарушении запрета? — так же быстро возразила Марина.

Сен-Жермен взглянул на Димитрия и Юрия.

— Ваши мнения?

— Признаться, я мало задумывался над этой историей. — пожал плечами Димитрий. — Понимаю, что аллегория, понимаю, что дело в недозволенном познании чего то, не одного же стыда, это ясно, но почему этот первородный грех так

велик, и в основе всех религий считается, что человек обязан за него страдать..?

Юрий уже давно хотел вставить слово.

— Я уж тут многое узнал, и почитал тоже. Ну вот с научной точки зрения никаких Адама и Евы быть не могло, пусть это аллегория, как говорится. Но предположим, что первые сознательные люди живут на райской земле, и вот древо познания добра и зла. Понятно, что им надо познавать добро. А какие яблоки — не разберешь, все румяные. Змей, значит, или дьявол подсунул им не то, что надо. Но почему им никаких нельзя было есть? Значит добра тоже не надо? Потом увидели, что голые, поняли значит, что мужчина и женщина. А как же иначе? Если бы Бог хотел, чтобы они так единственными и остались, или размножались как нибудь иначе, тогда, извините, зачем их такими делать было? В чем же грех? Скажем, вот у меня грехи, это я понимаю, за них я и в ответе, а тут еще первородный. Нет, суть не в том. Я вас за черта, простите, никак не считаю, говорю грубо, но правду. Мне приходилось видеть таких людей, которые действительно на чертей походили. И один даже довольно красивый был, а только холодом от него разило, пустотой страшной: в глаза посмотришь, как морозом по коже... Этот, если бы учить стал, так сатанинскому, это точно. А в вас я этого не чувствую вовсе. Что вы в десять раз больше всех профессоров, вместе взятых стоите, так это я понимаю, и что около вас сам светлее становишься как будто, ввысь рваться хочется, облаком стать — или героем, ученым —

это тоже точно, и если это зло, пусть меня посадят в лагерь.

«Нельзя улыбаться, — подумала Марина, — но как же он ответит, чтобы мы с профессором могли задуматься, и чтобы Юрию было понятно? Хотя он говорит всегда упрощенно, но философски-религиозный диспут с таким человеческим винегретом!».

— Познание добра и зла, — начал Сен-Жермен, — заложено в каждом, присуще ребенку, понимающему еще и не разумом даже, а чувством, что он поступил плохо, солгавши. Чувство стыда присуще даже некоторым высшим животным, как и жалость к слабейшему, соллидарность в минуты опасности, материнский инстинкт, послушание вождю, преданность. Но, выростая, человек чаще всего не узнает разницы между добром и злом, а теряет ее. Примеров этому слишком много, чтобы о них говорить. Но мы говорим об аллегории первородного греха — чего то такого страшного, что было искуплено Христом, и уж, конечно, не в яблоке, сорванном невинной женщиной, было дело . . .

Он смотрел сейчас не на них, а поверх их голов, на какие то картины давнего прошлого, чуть приметно качая головой.

— Вот тогда, у нас . . . и тогда были мудрецы, искавшие ответа на вопрос: когда же, в чем был этот роковой перекресток, после которого путь привел в тупик? Ответ нашли немногие. Современному человечеству он был дан в аллегории о древе. Все яблоки румяны — сказал юноша, и простыми

словами сказал правду. Где же грань между здоровыми и ядовитыми плодами? Божественные законы установили эту грань. Злая сила — смешала все вместе в уме человека, захотевшего стать большим, чему ему предназначалось. В том, что он поддался этому желанию — и есть грех.

Он остановился и помолчал.

— Простой пример: глаза. У человека, привыкшего к большим пространствам, острее зрение, и он может развить в себе второе, поскольку это дано ему свыше. А он сконструировал по образцу глаза фотокамеру, телескоп и микроскоп, проник в мир бесконечно малого и большого — и для чего? скажете: медицина, химия, астрономия... правильно. Множество прекрасных, но столько бесполезных, а иногда и вредных познаний.

— Значит, науки вредны — не выдержал профессор.

— Я сам ученый, — улыбнулся Сен-Жермен. Но когда мне нужно проникать в другие планы, недоступные человеческому глазу, я прибегаю к моему второму, духовному зрению, а не к аппаратам.

— Выходит одно и тоже?

— Наоборот. Прежде, чем развить способность второго зрения, я должен был подавить в себе чувства, из за которых я мог бы употребить эти познания во вред. А кто из ваших химиков и физиков может похвастаться этим? Какие крошки упали с пышного стола человеческой науки для гармонии, справедливости, укрепления божественных начал — какие скалы свалились на

невежественное человечество с того стола? Вот в этом и заключается первородный грех: преступление грани между дозволенным и не дозволенным. Стремление к знанию во вред — и вечный приход к тупику. А от этого смятение, страх, боязнь смерти и желание ослепить себя самого, только бы не думать о неизбежном и главном. Нет, я предлагаю вам стать моими учениками, но не говорю: станьте, как боги. Богов нет и не должно быть, есть только один Бог, и создание может быть только достойным — но не равным Ему. Этого вашего вопроса я давно ждал, но вы должны решить его сами. Пойдемте со мной. На этот раз я не покажу вам никаких картин — ни прошлого, ни будущего. Только то, что есть — всегда.

Он повернулся и пошел мимо рощи к горам, каменной стеной стоявшим у долины. Они двинулись вслед. Последним шел профессор — почему то никто не захотел идти рядом с ним.

В каменной стене оказались вырубленные ступени. Как они не заметили этой лестницы раньше? Она поднималась по скале. Подниматься было трудно. Останавливались на площадках. Долина исчезла, горы отходили, падали вниз, а они все поднимались, прямо в сверкающее небо.

Последние ступени лежали полукругом, как паперть. Здесь наверху действительно стоял храм — легкие колонны поддерживали купол — из кварца или хрусталя — полупрозрачный и переливающийся, как небо.

Внутри храм был пуст. Такие же полупрозрачные колонны и арки сливались с высоким сво-

дом. Посредине стоял высокий крест из простого серого камня. Больше ничего.

— Это храм Единого Бога — произнес Сен-Жермен. — Крест — символ пресечения бесконечности с Творцом. А теперь вспомните еще раз все, что с вами произошло, всю вашу жизнь, желания и свершившееся, потери, грехи и помыслы — и молитесь, как можете, как умеете. И зажигайте молитвой свечу.

Он склонился ниц, простерся крестом, и через несколько мгновений поднявшись, остался стоять на коленях, склонив голову. Еще несколько секунд или минут — и вдруг они ясно увидели, как перед ними вспыхнул ровный, ясный свет, как язык пламени у большой свечи. Огонь полыхался сперва, потом вытянулся ровным столбиком пламени и медленно поплыл к подножию креста. Вот он остановился и осветил его — и крест вспыхнул голубым, чудеснейшим светом.

«Твоя от Твоих Тебе приносяще . . .» вспомнил профессор. Вот что значит эти слова, машинально повторяемые обычно, утратившие смысл . . .

Они стояли, беспомощные и неловкие. Никогда еще за время пребывания в замке не было у них такого чувства, что они подошли к порогу — и не могут перешагнуть. Но тайна за этим порогом совсем не была страшной.

Марина, ступив уже на первую ступень лестницы, поднималась медленно, с каждым шагом оставляя за собой что то: вот вспомнила пережитое: воспоминание, надежду, чувство — и отбросила, оставила за собой, чтобы ничего не осталось,

кроме самого сокровенного, обнаженной души — там, наверху. Она не знала, куда идет — но чувствовала это. Теперь был этот верх. Она улыбнулась, оглянувшись на Димитрия, на своих — и облегченно вздохнув, опустилась на колени и простерлась ниц. Без слов, без желаний, без мыслей, — только с одним стремлением — найти и вступить на тот путь, который будет ей указан.

Голубой свет креста освещал и ее, проникал вглубь, и что то падало с нее, как шелуха, что то поднималось со дна души ввысь. И когда ей, трепетной и благодарной, послышались вдруг слова: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко», — она подняла голову, и никогда не испытываемая еще радость благодарения, как слезы, хлынула из глаз: тонкий, робкий язычек пламени двигался от нее к подножию креста. Зажгла свечу!

Такие же маленькие — ярче и тусклее, — но живые огоньки колыхались и плыли от всех остальных — Юрия, Димитрия, профессора, Дары. Все они лежали ниц и каждый, как мог, как умел, освобождался от всего земного, призывая на помощь мудрость и благость Творца для нового пути по Его воле.

Сколько времени они пробыли в храме, как спустились с горы — никто не помнил. Но теперь мир стал другим. Вернее, они захотели стать другими.

На террасе замка догорал вечер. Солнце садилось где то далеко за долиной, на мрамор падали отсветы заката с гор, а внизу уже стлались легкие сумерки, и по вечернему свежо и прохладно дышала трава.

После долгого искуса по отдельным кельям, долгого изучения сил природы и человеческой мысли, они снова стали чаще собираться вместе с Учителем.

Никто не называл его больше графом — но их прежние имена сохранились за ними, как привычный звук. Сохранился и наружный вид, только черты лица, в особенности глаза стали иными.

Поэтому все особенно насторожились, когда увидели Учителя, входившего на террасу в легком облаке грусти. За ним торжественно выступал

слуга с подносом, на котором стояли бокалы и вино.

— Сегодня мы заканчиваем цикл, — сказал граф, поднимая бокал, — и нам надо подвести итоги. Я не ошибся — вы оказались способными учениками, и сами знаете это.

— Разве ты мог ошибиться? — спросил Юрий.

— Душа может неожиданно сломаться, не выдержав тяжести. Но у вас всех оказалось достаточно силы. Вы научились владеть своими чувствами, телом, волей, мыслью, ценными знаниями, и что еще больше: никогда не принесете их во вред кому бы то ни было. Для этого у вас было достаточно испытаний . . .

Дара чуть покраснела, хотя она давно отвыкла стыдиться перед Учителем, который помог ей превратиться из животной куколки в легкую бабочку. А сколько пришлось ей мучиться, пока ее чувство к Юрию не превратилось из ревнивого вожделения в настоящую светлую любовь.

— В прежние времена древние греки назвали бы тебя богиней плодородия, — усмехнулся, закончив ее мысль, Димитрий.

— Тебе тоже не легко дались твои тайны энергии! Кто каялся мне однажды, что его соблазняет мысль перестроить весь мир?

— С гордостью пришлось считаться и мне, и не только с гордостью, — наклонил голову профессор. — С извечными проклятыми вопросами, сомнением, желанием постигнуть непостижимое, с требованием доказательств. Дара боролась больше с животным началом, я — с человеческой дер-

зостью и недомыслием. Не знаю, что тяжелее. Но мы побороли и то, и другое. А кто мог подумать раньше, что Юрий станет таким разносторонним ученым, таким типом правителя . . ? Бесспорно, он может считаться лучшим из нас.

— Ну, нет, — покачал головой Юрий. — Сколько осталось еще неизведанного, сколько работы! Я еще далеко не гожусь для правителя. Вот, когда мы сочетаемся браком с Дарой, тогда, быть может я смог бы заняться созидательной работой. Но пока меня больше занимает меряться силой с тьмой, я люблю бурю!

— Боюсь иногда, что ты слишком надеешься на свои силы, — сказала Дара.

— А для чего же у нас Марина? — спросил Димитрий. — Если уж говорить о древних богах или жрицах, так вот Марина вся ушла в молитву и искусство, и ее красота и вера поддержат любого из нас — если не поможет Учитель.

— Теперь я вполне понял сказанную нам притчу о мудреце и его учениках — задумчиво произнес профессор. — И могу ответить, как этот юноша: да, я действительно хотел и хочу познать истину. Но у меня есть еще один вопрос —последний. Я много раз сомневался в Учителе, не только сначала, когда считал его сумасшедшим, но и потом, когда уже уверился в силе. Может быть — тем более . . .

— А этот вопрос показывает полное доверие.

— Да, вполне. Именно поэтому. Именно после того, как мы пошли на молитву — там, перед крестом . . . Но как же зло, Учитель? Пусть страх

существует больше всего в нашем воображении, как порождение мыслей. Но ведь зло реально не только в наших измерениях, но и в другом плане? И раз это так, то все наши усилия пробиться к свету должны встречать противодействие со стороны этих темных сил. Мы видели ужасы, совершенные людьми . . .

— Но здесь, в этой долине вам не приходилось сталкиваться с темным.

— Нет. Но если ее можно было изолировать от мира трех измерений, то и в другом плане изолировать тоже?

— Совершенно верно, и в этом — весь мой ответ. Конечно, я бы мог показать вам темные потусторонние силы, прилипающие, присасывающиеся, терзающие людей, губящие их — временно или надолго. На пути восхождения вам надо, даже необходимо с ними столкнуться, чтобы суметь побороть или подчинить себе. Но к свету ведет много путей. Я выбрал для вас тот, который казался мне лучшим при данных обстоятельствах: сперва разбудить, укрепить сознание, дать вам проникнуться жаждой истины и пониманием того пути, по которому надо идти, — и только тогда предоставить справляться со злом, подвергнув тяжелому испытанию. Пока же вам хватило тех человеческих ужасов, которые вы видели. Пока же я вам дал чувство защищенности вот этого замка, светлого острова, родного дома, прибежища, которого вам не хватало. Если хотите другими словами — вам пришлось сперва полюбить, а потом повиноваться, с радостью, а не со страхом. Не забудьте, что все это

уже было написано в Евангелии, а я только ученик, повторяющий слова Учителя. Все уже было — во времени...

— Когда ты показывал нам землю, Учитель, то тоже говорил всегда «во времени». Это — формула?

— Определение. Наш замок вне человеческого времени. То же, что происходит за стенами этой долины, — имеет настоящее, прошедшее и будущее. Это — во времени.

«Почему он так печально и жалостливо улыбается при этих словах — подумала Марина. — Как будто хочет нас защитить от чего-то».

Мысль мелькнула и пропала — и настоящее значение слов было понято только позже. Как много есть слов, смысл которых понимается только гораздо позднее, и часто — слишком поздно!

— Ну вот, теперь, когда вы сами сказали все, что нужно — произнес граф слегка дрогнувшим голосом, и налил им по второму бокалу, — вам осталось еще одно, последнее испытание, и вы должны пройти его уже без моей помощи.

Они встрепенулись. Вот отчего его грусть!

— Это очень страшно? — робко спросила Дара.

— Разве тебе теперь может быть что нибудь очень страшно?

— В чем оно будет заключаться? — нахмурился Юрий, уже порываясь в бой.

— Вы слишком уединились в этой долине. Она нужна мне, она годится для моих учеников. Но вы кажется, совсем забыли о том мире, откуда пришли, а именно для людей вы и учились здесь!

— Какой... даже нельзя выразить, какой жалкой кажется теперь эта жизнь!

— Сделайте ее другой.

Наступило молчание.

— И... скоро? — спросил Юрий.

— Сейчас.

— Надолго?

— Это зависит от вас.

— Но... если мы не справимся? Если нам понадобится... у нас будет связь? Мы можем вернуться? — спросил профессор. Прохлада библиотечных раздумий в замковых залах, тот громадный труд, которым он был занят, — все это бросить, прервать... И ради кого? После первого посещения храма, после того, как они действительно отмели все прежнее и стали учениками, никто из них, по молчаливому уговору, не подходил больше к аппаратам, к телевизору, в котором можно было видеть остальной мир. Сколько времени прошло с тех пор? Времена года в долине менялись, но их никто не считал.

— Вы почти бессмертны. Пройдет еще не мало поколений для остальных людей, пока вы сможете переменить оболочку. Вы владеете вашим телом и знаете тайны природы, и вам не страшны лишения и болезни. Вы — мои ученики! И вы не хотите показать себя достойным вашего учителя и обойтись без него, своими силами? Нет, теперь наступил этот срок. Вы выходите в мир одни. Возврата в долину не будет даже для вас — пока не наступят другие сроки...

Он помолчал и еще раз обвел их взглядом.

— Сегодня я прощаюсь с вами, — надолго. Помните, что вижу и слежу за вами, радуясь вашим успехам. Вы получили здесь очень много, и вспомните — заслуживали ли вы тогда эту помощь? А теперь покажите себя достойными ее. Вы вернетесь в мир — но вас не собьют с толку никакие человеческие измышления. Вы вытравили из своего сердца стремление к власти, к подчинению других, к богатству, и знаете, что человек может довольствоваться немногим, но это немногое должно быть гармоничным и красивым, должно поддерживать его и углублять, двигать его вперед. Вы можете стать учителями для других, но не смеете забывать, что вы сами мои ученики, так же, как я слуга и ученик мудрейших, не говоря уже о том, что все мы песчинки перед подножием Единого Творца, непостижимого нашим разумом.

Он встал и сделал рукой прощальный жест.

— Идите и продолжайте свой путь. Счастливый путь новых людей. Да благословит вас Бог, как благословляю я...

Он пошел впереди, и они за ним следом: Юрий и Дара, Марина и Димитрий — две пары, и замыкавший шествие профессор — мудрец.

Ступени террасы, трава... каменистая тропинка, ведущая к скалам — и тот проход, коридорный свод, через который они вошли когда то. Теперь он снова был открыт.

Еще последний взгляд на долину, последний поклон Учителю — и они вошли в коридор — бесстрашные, но взволнованные, со смятением, верой, радостью — и горем разлуки. На глазах у

Дары и Марины стояли слезы, и Димитрий, взглянув на них, подумал с радостью, что несмотря на все знания и одухотворенность, они все таки остались людьми, — и радость от сознания этого человеческого сердца, человеческих чувств, человеческой любви настолько велика, что даже заслонила боль прощания, внезапно наступившую темноту.

Путь назад был отрезан. За их спиной внезапно выросла, сомкнулась стена, и Димитрий знал, что ее нельзя сдвинуть никакой силой. Но он покорно склонил голову перед новым предназначением, он ждал его уже и радовался земной жизни . . . тому неясному пятну, светлевшему впереди· Земной свет! Значит, есть еще свет на земле, не одни только атомные, черные тучи, застлавшие солнце . . .

Они шли быстро, и пятно увеличивалось, светлело . . . Выход!

Яркое, горячее солнце, заходя, грело зеленую траву. Дара с Юрием, все еще держась за руки, выбежали первыми. Земля! Земля!

Да, это была земля. Та же лужайка, та же трава — та же дорога в нескольких шагах среди гор, по которой . . . по которой медленно ехал «Караван». Доехал до лужайки, остановился.

— Куда вы девались? А я вас ждал, ждал! — закричал Иван Николаевич, высовываясь в полуоткрытую дверцу.

Они окаменели, как облитые молнией. Все, что угодно, можно было ожидать. Но это . . .

— Вот оно — настоящее испытание — первый произнес дрогнувшим голосом профессор.

— Кто же нам поверит? — прошептала Дара, трясясь мелкой дрожью. — Как же мы скажем — другим? Ведь у нас нет никаких доказательств.

Она была все таки слабее других — внезапный переход оказался для нее слишком резким.

— А показывать наших настоящих знаний мы не можем — строго произнес Димитрий.

— И нашу силу тоже нет — печально подтвердил Юрий.

Они невольно взглянули на Марину. На ней тоже было теперь не простое белое одеяние, а старое ее платье — только на руке горел синими огнями невероятный, изумительный браслет из громадных сапфиров — тот, надетый после первой ночи в замке, на который она смотрела всегда, когда боролась с собой, преодолевала трудности, падала духом . . .

— Единственное, что осталось — нетвердым голосом сказал Димитрий.

— А мы сами? — Марина подняла голову и сияюще улыбнулась всем. — Малодушие с самого начала? Разве у нас нет веры?

Она расстегнула браслет и, коснувшись его губами, взмахнула рукой.

— Возьми и его, Учитель! Мне не нужно никаких доказательств!

И, не оглядываясь больше, легко и смело пошла навстречу старому «Каравану» . . .

Конец

КНИГИ ТОГО ЖЕ АВТОРА:

«Тень синего марта», сборник рассказов, Рига, 1937
(распродано)

«Дама треф», сборник рассказов, Мюнхен, 1946
(распродано)

«Королевство алых башен», рождественские рассказы,
Мюнхен, 1947 (распродано)

«Бессмертный лебедь», (Анна Павлова), Нью Йорк, 1956

«Разговор молча», (стихи), Мюнхен, 1956, цена 0,50 центов

«Копилка времени», сборник рассказов, Мюнхен, 1959,
цена 1,50 дол.

«Die Stadt der verlorenen Schiffe», роман, 650 стр.

С заказами просят обращаться по адресу:

Irina SABUROWA
München - Feldmoching
Grashofstr. 160 b, Postfach 34

ЦЕНА: *2 долл.*